

1862—1863

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Бывши одним из людей, близких к Добролюбову, я разобрал бумаги, оставшиеся после него, и теперь занимаюсь собиранием других материалов для его биографии. Дело это требует довольно долгого времени; и пока я успею исполнить долг, лежащий на мне, считаю полезным напечатать некоторые из материалов, уже находящихся в моих руках.

*Н. Чернышевский.*

Михаил Алексеевич Костров, муж сестры Николая Александровича, Антонины Александровны, прислав мне письма Николая Александровича к сестрам и к нему, приложил к этому собранию небольшую записку о детстве покойного, которому он давал уроки до поступления Николая Александровича в семинарию. Вот отрывки из этой записки:

«Домашнее обучение его (Николая Александровича) начато было очень рано, а вместе с этим очень рано начала сказываться и его талантливая натура. Уже лет трех, со слов матери своей (это была умная, прекрасная женщина, и не даром о ней доселе все родные и знакомые так много жалеют) он заучил несколько басен Крылова и прекрасно произносил их перед домашними и чужими, ибо покойный родитель его, не скрывая своей радости и своих восторгов от своего даровитого Коли, любил иногда похвастаться им и перед чужими, приходившими к нему в гости или по делу. Я сказал, что он заучивал эти басни со слов мамы своей. Действительно, так как отец его, занятый то службою церковною, то училищною (он был несколько времени законоучителем в здешнем канцелярском училище), то уроками частными, а особенно стройкою своих домов, не мог большею частию даже и быть дома подолгу, а не то, чтобы много заниматься с детьми, — то вообще на первое развитие сына его по необходимости должна была иметь влияние мать. Мать же выучила его и читать, да, кажется, и пи-

сать азбуку. Когда ему стало 8 лет (с половиной, кажется), то приглашен был в учителя для него кончивший курс семинарии — Садовский; но этот последний занимался с ним не более двух месяцев, потому что поступил сам в священники. Тогда был приглашен к нему я. Я был в это время переведен в философский класс и немного известен был родителям Николая Александровича, потому что квартировал у родственников их, Благообразовых. Поступив к нему в учителя, я старался, во-первых, заохотить его к учению, чтобы «*учиться*» обратилось для него в главную и насущную потребность; а во-вторых, доводить его до ясного, по возможности полного и отчетливого понятия о каждом предмете, не слишком заботясь о буквальном заучивании им уроков (конечно, при обучении латинскому и греческому языкам приходилось ограничиваться только, впрочем совершенно достаточным, знанием всяких правил грамматических и синтаксических). Покойная мать его не раз тут замечала, что из нашей классной комнаты почти только и слышно: «почему», «отчего» да «как» и т. д. Отец его, видя, что сын его, при своей отличной восприимчивости, при усердии и любознательности, оказывал отличные успехи, и что вообще наше учение идет в порядке, не мешал нам и свободно предавался своим служебным и хозяйственным занятиям, — только иногда навещался об его успехах и давал ему те или другие вопросы по тому или другому предмету. Таким образом наше учение продолжалось около трех лет, если из этой цифры не исключать месяцев пяти или шести его болезней или моих каникул. Тогда он, т. е. по прошествии трех лет, был представлен в духовное училище, из которого через год и был переведен третьим учеником в семинарию. В семинарии он учился пять лет, и шел все первым. С словесности же он начал читать все, что только могло попадаться ему под руку; светские журналы он доставал или (иногда) у семинарских наставников, или (всего более) у квартировавших в его доме генерала Улыбашева и князя Трубецкого и у некоторых прихожан. Семинарское образование не могло удовлетворить его, как он нередко говорил и мне об этом; не надеялся он удовлетвориться и в духовной академии, а непременно желал ехать в какой-нибудь университет. Отец его непрочь был и сам отпустить его туда, но затруднительное положение кошелька (ибо он был кругом в долгу по выстройке дома своего) было причиной, что решено было отправить его в С.-Петербургскую академию, по-каковому поводу бывший тогда у нас преосвященный Иеремия<sup>1</sup> дал ему даже рекомендательное письмо к ректору оной.

В «С.-Петербургских ведомостях»<sup>2</sup> кто-то сказал, что покойный Николай Александрович был всегда слабого сложения. Решительно сказать этого нельзя, хотя и точно он был золотушного сложения; золотуха обнаруживалась у него и у маленького, и лечился он от нее и в бытность свою студентом Педаг. института.

Конечно, усиленные занятия в семинарии, а отчасти и в училище, и по поступлении в институт, могли иметь не очень благоприятное влияние на его здоровье; но останься в живых его отец и мать, все обошлось бы для него недурно, и он жив был бы и (относительно говоря) здравствовал бы доселе. Решительное влияние на расстройство его здоровья произвела смерть его матери, а потом и отца, за которыми последовали, как неизбежное следствие, его еще более усиленные и непрерывные работы и во время институтской жизни и после, которые, при грустном настроении духа его, и доконали его. Смерть родителей и особенно, кажется, матери, подле которой он до 17-ти лет находился неотлучно, для которой и он был любимым сыном, и не только сыном, но и лучшим другом, — потому что отец, по службе своей, чаще всего отсутствовал, — и которую и сам он любил, как другому и не удасться любить, была таким ударом для него, от которого он не опомнился до смерти своей. «На что мне и жизнь-то теперь» (т. е. без матери), говорил он нам при последнем нашем свидании: «разве только для братьев и сестер; ну, для них-то я еще лет пять-шесть проживу». Эта смерть родителей имела влияние не только на физическое, но и нравственное состояние его».

Сущность нравственной перемены, о которой говорит М. А. Костров, будет видна читателю из напечатанных в этой книжке «Современника» стихотворений Ник. Ал-вича: «Благодетель» и «На гробе отца». Она видна также из следующих слов М. А. Кострова, который, упомянув об этих стихотворениях, продолжает:

«Он (Н. А.) был самым набожным человеком в Нижнем», — то есть до отъезда в Педагогический институт, — «считал за грех напиться чаю в праздничный день до обедни, после исповеди до причастия даже воды не пил, усердно всегда молился и с глубоким чувством. Но вот он, получив известие о болезни матери, с таким чувством и так же горячо и усердно молился богу об ее выздоровлении. Бог не внял его молитвам. Этого мало: через пять месяцев умер и отец, оставив восемь человек детей, мал-мала меньше. «Что ж это такое?» — подумалось ему».

Из этих слов читатель уже видит, что перемена, о которой упоминал выше М. А. Костров, состояла в падении прежних убеждений Н. А. и в появлении иного взгляда на законы вселенной.

Но колебание прежних убеждений началось в Н. А. еще раньше отъезда в Петербург; это мы знаем из разговоров с Н. А., и то же самое свидетельствует любопытная в психологическом отношении подневная записка очень оригинального характера, уцелевшая в его бумагах. Вот начало этого дневника, для которого Н. А. придумал заглавие «Психаториум»<sup>3</sup> — углубление в душу.

## «ПСИХАТОРИУМ»

«7 марта, 1853 г. 1-й час полудни.

Ныне сподобился я причащения пречистых таин христовых и принял намерение с этого времени строже наблюдать за собою. Не знаю, будет ли у меня сил давать себе каждый день отчет в своих прегрешениях, но, по крайней мере, прошу бога моего, чтобы он дал мне положить хотя начало благое. Боже мой! Как мало еще прошло времени \* и как уже много лежит на моей совести! Вчера, во время самой исповеди, я осудил духовника своего и потом скрыл это, не покаялся; кроме того, я сказал не все грехи, и это не потому, что позабыл их или не хотел, но потому, что не решился сказать духовнику, что еще рано разрешать меня, что я еще не все сказал. Потом я сетовал на отца духовного, что он не о многом спрашивал меня \*\*, но разве я должен ожидать вопросов, а не сам говорить о своих прегрешениях? Только вышел я из алтаря, и сделался виновен в страхе человеческом \*\*\*, затем человекоугодие \*\*\*\* и, хотя легкий, смех с товарищами присоединились к этому. Потом суетные помышления славолюбия и гордости, рассеянность во время молитвы, леность к богослужению, осуждение других — увеличивали число грехов моих», и т. д. и т. д.

Этот ежедневный список своих «прегрешений», с благочестивыми укоризнами себе, вел Н. А. с 7 марта до 9 апреля, так что набралось целых 32 страницы за эти 34 дня. Все дни, разумеется, похожи один на другой; вот, например, 29-я страница «Психаториума»:

«4 апреля, 12 час полудни.

Опять те же грехи в эти два дня: леность к молитве, рассеянность и легкомыслие, осуждение и насмешка, неприязнь к ближнему, вольные суждения, ложь, хитрость, притворство, призыва-

---

\* То есть со времени принятия св. таин.

\*\* Таким образом, все предыдущие прегрешения объясняются очень просто: духовник, исповедуя 17-летнего юношу, жизнь и нравы которого, конечно, знал очень хорошо и без исповеди, по домашнему или учительскому знакомству с ним, и за которым не было никаких особенных проступков, не почел нужным напрасно длить исповедь, а Н. А. совестился затруднять его просьбою о продолжении исповеди, когда духовник прекратил ее разрешительною молитвою.

\*\*\* Каким образом? — не объяснено; по всей вероятности, поклонился какому-нибудь отцовскому знакомому, которого не уважал в душе, или что-нибудь подобное.

\*\*\*\* В чем оно состояло? — опять не объяснено; вероятно, не возразил какому-нибудь товарищу на неправильное мнение, чтобы не раздражать человека напрасным спором в церкви, или что-нибудь подобное.

ние лукавого \*, честолюбие и славолубие, предание чувственности \*\*, чревоугодие и лакомство» \*\*\*, и т. д.

Список этих «прегрешений» заключается словами:

«Господи! Спаси мя, не остави мене погибающа!»

Но в том же «Психаториуме» среди длинных перечней всяких мелочей, возводимых на степень «прегрешений» усердием Н. А. к самообличению, среди красноречивых укоризн себе за эти «прегрешения» и воззваний о помиловании и спасении, мы находим следующие строки:

(7 марта). «Возникало во мне несколько раз сомнение о важнейших истинах спасения».

(12 марта). «Допустил в себе сомнение о святой церкви и ее постановлениях».

Подобные заметки встречаются почти каждый день. Да и самое ведение «Психаториума» было не больше как искусственной попыткой подогреть в себе остывавшее благочестие: постоянно замечает Н. А., что ему скучно вести этот дневник покаяния, что он продолжает его только в исполнение правила, которое раз постановил себе при благочестивом настроении, овладевшем на минуту его душою после исповеди и причащения: каждый день списывать страницу перечнем своих «прегрешений» и укоризнами себе за них. Вот, например, отрывок со стр. 30-й.

*«7 апреля, 12 час пополудни.*

Вот месяц прошел, как я предпринял доброе дело — давать себе каждый вечер отчет в том, как я провел день, — а уже как я изленился, как извратил свое дело! Вместо сокрушения и сознательного раскаяния ограничиваюсь только холодным перечислением моих грехов; я забочусь, чтобы только исписать страницу, и, оставляя добрую цель в стороне, отягощаюсь и чувствую уже, что я не могу еще долго продолжать свою исповедь перед собою».

М. А. Костров говорит о благотворном влиянии Зинаиды Васильевны на первое развитие ее сына и о чрезвычайно нежной любви его к ней. Об этом осталось много свидетельств в переписке ее с Н. А., в письмах его к родным и другим лицам после ее смерти до самой смерти его, в стихотворениях, найденных нами в его бумагах; наконец мы знаем это и из разговоров с ним. Но, оставляя до будущего времени извлечение материалов для его биогра-

\* Это значит, что употреблял фразы вроде: «чорт знает» или «чорт возьми».

\*\* Это значит, как видно из других страниц «Психаториума», что долго спал и, проснувшись, несколько минут ленился вставать.

\*\*\* Чревоугодием, как опять видно из других страниц «Психаториума», называет он то, что дил много чаю, который тогда очень любил; лакомство — то, что после обеда ел варенье, которым подчивала его мать.

фии из его писем и из личных наших воспоминаний о нем, мы теперь приведем только следующий отрывок, писанный, как видно по разным признакам, через несколько недель после ее смерти, еще до каникул 1854 года. Первые страницы этого размышления затерялись, и уцелел только полулист, который начинается словами:

«...получил я \* свои лучшие качества, с ней сроднился я с первых дней моего детства; к ней летело мое сердце, где бы я ни был, для нее было все, все, что я ни делал. Она понимала эту любовь; но я не успел показать ее на деле, не успел осуществить то, чем хотел ее радовать.... Мало радостных минут доставил я ей. Я был слишком горд; я не хотел прежде времени высказывать даже ей, моей дорогой, своих гордых планов и надежд, думал, что будет время — на деле увидит она, какого сына имеет и сколько он любит ее.... Не случилось так.... И почему же не верить мне, что она смотрит на меня с высоты небес, радуется.... Нет, нет, нет, — если это правда, если она видит меня, мою тоску, мои терзанья, мои сомненья, она умолит бога, чтобы он послал ее вразумить бедного, жалкого сына. Иначе ей будет рай не в рай, если только она не разлюбила меня. Мать моя! Милая, дорогая моя! Я всего лишился в тебе! Видишь, я плачу.... Мне тяжело, мне горько!... Помолись за меня, чтобы бог остановил меня на краю гибели!... Ведь ты чистая праведница, и бог услышит тебя. Явись мне, утешь меня.... Дай мне веру, надежду.... С надеждою можно жить в мире.... Неужели же расстояние между нами так непроходимо, что и материнское сердце не услышит мольбы страдающего сына?... Или я в самом деле должен думать, что ты не существуешь более и что я тоже машина.... Но зачем же эта странная тоска, эта грусть, эти сомнения? Мать моя! Верю, что ты любишь меня.... Вразуми и научи беспомощного!... Заставь меня верить и утешаться будущим!... Мое положение так горько, так страшно, так отчаянно, что теперь ничто на земле не утешит меня. Самая сильная радость обратится у меня в печаль, самая громкая слава, огромное богатство, всевозможные успехи только заставят содрогнуться мое сердце при одной мысли — что, если бы это знала мамаша, — как бы мы с ней порадовались!... И эта мысль тяжко, громадным камнем падет мне на сердце, и не будет мне счастья в счастье одинокого эгоизма...»

Этот отрывок замечателен как памятник кратковременного периода борьбы прежних убеждений с новыми в душе Николая Александровича. Тут он еще страшится беспредельного простора, открывающегося его мыслям и деятельности; этот простор еще представляется ему ужасною бездною; но он уже видит, что не удержится за прежними своими рамками, и делает последнее уси-

---

\* Очевидно, что надобно дополнить эту фразу так: от нее (от матери) получил я...

лие, чтобы подставить опору для падающей преграды. Он ищет эту опору даже в том самом чувстве, оскорбленную силою которого влечется он на свободный простор.

Характеристичен и самый этот источник новой умственной жизни. Натуры, в которых преобладает отвлеченный ум, приходят к разрыву с мнениями детства уже и вследствие одних только теоретических соображений. Я не встречал человека с более сильным и светлым умом, чем какой был в Николае Александровиче. Но при этом было в нем такое живое сердце, что чувство постоянно служило ему первым возбудителем и мыслей и дел. От этого его убеждения и намерения всегда были реальны, его стремления всегда были чрезвычайно определены, — определены до конкретности, и, при всей беспредельности своей теоретической программы, он все силы свои обращал на исполнение той части ее, которая могла быть осуществлена непосредственно, чтобы эта частная перемена служила средством для осуществления дальнейших замыслов. Пользуясь представившимся фактом его жизни, я хочу представить пример свойственного ему хода мыслей.

Ряд их начинается конкретным фактом: умерла женщина, смертью которой расстроена жизнь многих людей и навсегда опечалены некоторые из них. Она умерла от неудовлетворительности отношений, в которые была поставлена. Не годится, чтобы оставалось так. Обстановка человеческой жизни должна быть изменена, чтобы не умирали преждевременно люди. Но в этом общем стремлении к пересозданию всей человеческой жизни остается ему памятен частный факт, возбудивший все стремление в нем. Дело шло о женщине, для которой теперь все зависит от семейных отношений. А в семейных отношениях тяжеле всего теперь грубость отношений всякого старшего к младшим. Потому ненависть сосредоточивается на грубом авторитете, господствующем над патриархальной семьею. Вот объяснение страстной силы, с какою восставал Николай Александрович против него, заклеив его именем самодурства. Из сердца, обливавшегося кровью, лились его слова. Когда он писал, перед его мыслью неотступно стояли конкретные факты действительной жизни, стояли фигуры людей, с которыми он сроднился в жизни, скорбь которых он прочувствовал. Его статьи — как будто эпилоги к биографическим и автобиографическим рассказам.

О времени, которое провел Николай Александрович в семинарии, написал по моей просьбе следующие воспоминания М. Е. Лебедев, бывший его товарищем во все время семинарского его учения.

«В 1846 году 12—15-летние ученики высшего отделения нижегородского духовного уездного училища, только что перешедшие из низшего отделения и имея уже за плечами четыре года несладкой работы над горькими корнями учения, были несколько не-

приятно поражены, что к ним в сентябре месяце ректор училища привел 10-летнего мальчика Добролюбова учиться. «Прямо в четвертый класс!» — говорили ученики, удивлялись и завидовали. «Да что ему! — объясняли наиболее практические и опытные с досадой. — У него отец-то никольский священник, богатый; дом какой! каменный. А наш Лебедьков поросенка примет и сделает что угодно». — «Семь копеек принял от матери Скородумова», — поясняет другой с азартом. «Три горшка от моей тетки принял и к рождеству за неделю отпустил меня домой», — ядовито откровенничает третий.... У первых учеников шел другой толк. «Говорят, братцы, подготовлен хорошо. А латинский как знает! Книг много у отца... Он уж Карамзина прочитал (Карамзина когда-то еще удастся им самим почитать, года через четыре: таков порядок был там в распределении книг для чтения). Вот будет качать!» И первые ученики заранее уже назначали, кого из них должен сшибить Добролюбов; о возрасте его судили весьма одобрительно. Начали присматриваться. Прежде всего оказалось, что мальчик очень нежной, барской наружности, с очень мягкими руками; увидали, что очень скромн и застенчив, как девочка, дичится всех, чуждается. В переменах классных и до прихода учителя ни с кем не якшит, а читает книжки, которые из дому носит. Книжки были все по предметам, проходимым в классе. В этом классе уже начиналось изучение латинского синтаксиса; учитель, преподававший его весьма дельно, хотя и с мерами, строгими до жестокости, задавал переводы с русского языка на латинский таким манером, что сам назначал только немногие латинские слова и фразы, наиболее трудные, а остальные приискивались самими учениками. Тогда-то Добролюбов поразил всех новостью: самостоятельно фразируя некоторые примеры, насколько знал латинский язык, он вставлял в данные сентенции совершенно новые и уместные мысли, так что с первого же опыта получил отметку наставника: *ter optime*; следующие затем отметки были: *eximie, egregie, ter eximie*, и ниже *optime* \* никогда не спускались. Кроме того, наиболее замечательные из его упражнений учитель с искренним удовольствием читал и разбирал в классе при всех. Успех этот был поразителен: первые ученики бросились за ним в погоню; изучение латинского языка сделалось весьма интересным (конечно, только для меньшинства и для учителя). Пытались объяснить сначала успех Добролюбова посторонней помощью, но скоро разубедились. Когда учитель заставлял в классе учеников фразировать по-латыни русские предложения и рассказывать по-латыни своими словами из «Корнелия Непота»<sup>4</sup> и «Латинской хрестоматии», то Добролюбов постоянно отличался при всех. Наконец и собственные опыты подражателей его уверили, что это довольно возможно и без посторонней помощи. С таким же успехом Добролюбов за-

\* Весьма хорошо, отлично, превосходно, сверх отлично, хорошо. — *Ред.*

нимался священной историей, географией, арифметикой и другими науками, занял повсюду 4-й № в списках и в 1848 г. перешел во 2-е отделение словесности (нижнее отделение семинарии, по множеству воспитанников делившееся на два параллельные отделения). В семинарии, с течением времени, Добролюбов погружается в ученые занятия. От товарищей держится так же далеко, хотя принимает к себе всех, кому угодно его посетить. Но все свободное от посещений время занят книгами. Он читал русских авторов, ученые сочинения, журналы — и дома и в классе. В его упражнениях по классу реторики и пиитики постоянно было видно знакомство с лучшими русскими литераторами, что и выставлялось на вид учителем словесности. В немногих упражнениях, какие были по истории всеобщей, была видна та же начитанность. Его возражения, например, по математике профессору-монаху, по истории — против учебника Кайданова<sup>5</sup> — были выслушиваемы учениками с участием, которое возрастало, когда профессор не решал возражений, а заминал их своим авторитетом, невозможностью распространяться по причине недосуга и другими уловками. В среднем отделении семинарии Добролюбов поражал громадными сочинениями по философским темам, особенно об учении отцов церкви, отчасти из русской церковной истории. Надо заметить, что способы писания задач в семинарии были истинно оригинальны. Задавалась, например, тема на какой-нибудь предмет; наибольшая часть тем давалась философского сорта, изредка исторического; в классе профессор говорил почти то же, что в сухих, коротких учебниках; предмет темы никогда обстоятельно не развяснялся; источников почти никогда не указывали и совершенно никогда не давали в руки ученикам; между тем общественное мнение в семинарии, благодаря самостоятельной деятельности лучших учеников, было в пользу больших (и дельных, впрочем) сочинений; но требовало, чтоб сочинитель сам писал свои задачи, т. е. сам своей головой доходил до решения заданных тем; а как скоро задача отличалась начитанностью, то же общественное мнение обвиняло автора в заимствованиях: дескать, он списал, сдул. Таким образом, ученик был поставлен в необходимость или разбавлять риторической водицей и без того жидкие сведения учебника и летучие заметки профессора, или самостоятельно ломать голову над вещами, которых не знал, или же претерпевать укоризну от товарищей за сдувательство и ужение своих задач из книг. Добролюбов, еще до знакомства с такой странной теорией писания задач, постоянно сопровождал свое чтение выписками из книг, постоянно сверял с подлинниками те цитаты в разных сочинениях, которые прочитывал, так что значительную часть отысканных по смерти его записок составляют именно подобные выписки, веденные им с того времени — или по рубрикам различных предметов, или по алфавиту, или по журналам, с указанием, где что напечатано. Ясно, что задаваемые в семинарии темы большего

частью встречали его уже совсем готового к ответу; поэтому упражнения его отличались обилием мыслей и знаний и множеством цитат: все это становило втупик профессорам и семинаристам. Сначала, как водится, на него косились ученики и обвиняли в сдувательстве. Но скоро заметили, что Добролюбов делает выписки, не стесняясь ни задаваемыми темами, ни даже проходными в семинарии науками. Это ошеломило их и в то же время убедило, что тут дело ведется никак не меньше, как на академию или на университет, — словом, на ученость, потому что ни филология, например, ни литература, ни история да и ничто другое в таких широких размерах не годится просто для семинарских классов, тем, списков и аттестатов. Так тем и покончили, занялись своими делами, и результатов никаких. В свою очередь косились и профессора. Нельзя, например, ученику обойтись без выговоров, и Добролюбову иные профессора делали замечания, потом и выговоры, за то, что он не слушал их в классе, а читал принесенные с собою книги. Добролюбов почтительно представлял резон, что нечего слушать, когда спрашивают учеников одно и то же (система учения была зубрильная); иногда профессор успокоивался простым увещанием, что все же что-нибудь можно услышать новое и при спрашивании уроков; но были случаи, что Добролюбова ловили на классе какой-нибудь Кайдановой или Устряловой<sup>6</sup> истории, греческом или латинском языках за журналом, повестью, романом. Тогда с выговором бралась книга, клалась на стол, но не смела рваться и закиливаться, как у многих других, потому что никольский священник ведь тут налицо, в Нижнем... В числе профессоров, претендовавших на внимание, был, например, профессор логики, «чистый разум» которого ученики, по отзыву своих предшественников и собственному опыту, характеризовали такими силлогизмами, подслушанными даже у самого профессора: «Когда дитя кричит, значит, ему больно, потому что его бьют...» ах, нет, не так: «Когда дитя бьют, то ему больно, потому что оно крич...» ах, нет: «Когда бьют, то оно кричит, потому что ему больно...» ну, да там сами сделаете после... Окончательный вывод об этом профессоре выражался силлогизмом: «В углу палка стоит, следовательно, на дворе дождик идет». Другой, профессор догматики, бывший профессор латинского языка и умевший сыпать кстати и некстати цитаты из латинских писателей, не мог освободиться от своей привычки и тогда, как читал (по учебнику) догматику, совершенно новый и незнакомый для него предмет. Этот профессор прибавлял новые выговоры за то, что язык в сочинениях Добролюбова слишком чист и напоминает журнальные обороты... Обыкновенно эти профессора в своих выговорах руководились вслух формальностью, голословным запрещением. Но втайне, вероятно, была причина проще, — общая причина всех формальностей: что как-то неловко смотреть, как ученик в ваших глазах и за вашими часами как раз узнает больше вас самих... По край-

ней мере на это слегка намекнул один профессор за веселой компанией. — Впрочем, Добролюбов не был в семинарии феноменом, предметом молвы или гордости семинаристов. Феномен в семинарии составлял молодец на возражения профессорам, вскакивавший и дельно отвечавший при первом вопросе наставника: «кто скажет?», прочитывавший библию на еврейском языке, говоривший по-латыни и особенно тот, кто постоянно сидел за картами или кутил и все-таки шел в первых. Добролюбов же только в первые года в семинарии дерзал на возражения, а потом благоразумно утих. А что касается до огромной его начитанности, это скромное препровождение времени за книгами и особенно занятие литературой, всемирной историей и тому подобными *посторонними* предметами не давало ему права быть феноменом; об нем *не кричали*, кроме тех случаев, когда он представлял задачи в 30, 40 и 100 листов. Но такая параллель с его молчаливым поведением в классе была скорее в ущерб той молве, какую порождала задача. Со стороны товарищей возникали неудовольствия на Добролюбова по поводу требования от него книг для чтения; подобные требования не всегда и не для всех возможно было выполнить по их множеству, и не всегда безопасно для целостности книг со стороны учеников, а еще более их пестунов. Эти обстоятельства, вместе с постоянными занятиями Добролюбова, давали повод считать его как бы чуждым, как бы отдаляющимся от товарищей. Такому мнению помогала особенно природная и привитая дикость семинаристов, боявшихся ступить ногой к его отцу, городскому священнику, в дом. Словом, семинария ни по личным, ни по классным отношениям не сходила с ума от Добролюбова, хотя *знала* и уважала его. Сам Добролюбов не водил большой компании с товарищами; когда приходили товарищи к нему в гости, он был одинаково любезен со всеми; но как и из этих смельчаков многие грусили посещать его в собственном его доме чаще разу в месяц, то оставалось не более троих, четверых постоянных его гостей, которые имели случай не только удостовериться, что Добролюбов не был букой, гордым или тому подобнсе, но и сами могли в его обществе и семействе стряхнуть с своих костей привитую семинарскую дикость. Между профессорами он нашел одного или двоих, впрочем не из своего отделения, которые отчасти напоминали собою гоголевского Александра Петровича<sup>7</sup>. В 1853 году был вызов из богословского класса (высшее отделение семинарии) в С.-Петербургскую духовную академию. Отправили двоих, в том числе Добролюбова. Прибывши в Петербург, он разом держал два приемных экзамена: в Педагогическом институте и духовной академии. Как скоро ход дела показал, что его примут в институт, он прекратил сдачу экзамена в академии. И только тогда семинария (ученики собственно) огласилась именем Добролюбова: «В Педагогический принят!» — «Сам Ленц был доволен экзаменом!» — «Сам Лоренц похвалил!»<sup>8</sup> — «Благодарность прислали

за него!» — говорили восторженные товарищи, протягивая семинарскую лямку в 53/54 год, которым оканчивался полный учебный курс, не конченный Добролюбовым».

Для читателей, не знакомых с семинарскими порядками, нужно будет объяснить некоторые подробности этой записки. Например: что такое значит «делать возражения?» В семинарском преподавании осталось очень много средневековых обычаев; к числу их принадлежат «диспуты» ученика с учителем. Кончив объяснение урока, учитель говорит: «Кто имеет сделать возражение?» Ученик, желающий «отличиться», — отличиться не столько перед учителем, сколько перед товарищами, — встает и говорит: «Я имею возражение». Начинается диспут; кончается он очень часто ругательствами возразившему от учителя; иногда возразивший посылается и «на колени»; но зато он приобретает между товарищами славу «гения». Надобно сказать, что каждый курс в семинарии имеет человек пять «гениев», перед которыми совершенно преклоняются товарищи. Я описываю порядок, бывший лет 15 или 20 тому назад в семинарии, где я учился.

М. Е. Лебедев упоминает о «задачах». Не знаю, как теперь, а в мои времена достоинство лучших учеников оценивалось в семинарии не по знанию уроков, а по достоинству «задач» или сочинений на темы, задаваемые преподавателем. Уроки спрашивались у учеников только начиная с осьмого или десятого имени в списке, который составлялся не по алфавитному порядку, а по успехам. Первый «пяток» в мое время вовсе никогда и не учил уроков, зная, что никогда не будет спрошен в учебное время. Зато он работал над «задачами», собрание которых приносилось каждым учеником и на экзамен. У кого эти задачи составляли толстую кипу, тому было обеспечено благоволение всего экзаменующего начальства.

Не мешает объяснить и термин «сдувать», употребляемый М. Е. Лебедевым. Количество тем, находившихся в обращении при задавании задач, было не слишком многочисленно: «страдания приближают нас к богу», «о пользе терпения», «дурное общество развращает нравы» и т. п. — в риторическом классе, или низшем отделении семинарии; «о различии рассудка и разума», «о различии души и тела», «о преимуществе умозрительного метода над опытным» и т. п. — в философском классе, или среднем отделении; всех различных тем, задававшихся в течение целых 5 или 6 курсов, т. е. 10 или 12 лет, набралось бы, вероятно, не больше 100; а каждый год писалось несколько десятков «задач», стало быть, одни и те же темы очень часто повторялись. Поэтому старые «задачи» заботливо хранились, передавались от одного курса к другому в наследство на случай неизбежного повторения тех же тем. У меня были товарищи, у которых по большому сундуку было набито таким запасом. «Гении», конечно, презирали этот способ отличиться чужим трудом, и он носил имя «сдувательства». В руках у семинаристов бывало очень мало книг, как

упоминает и М. Е. Лебедев; потому списыванье чужих «задач» было почти единственным доступным для них способом пользоваться какими-нибудь пособиями при сочинении «задачи»; от этого всякое пользование какими-нибудь пособиями было подвормо общественным мнением семинаристов под обыкновенный случай «сдувательства».

Отсутствие близких дружеских отношений между Николаем Александровичем и его товарищами по семинарии достаточно объяснялось бы уже одним тем обстоятельством, которое выставлено и у М. Е. Лебедева: Николай Александрович был сын городского священника, пользовавшегося почетом у епархиального начальства. Чтобы могли понять это люди, не знакомые с семинарским бытом, скажу о своих отношениях с товарищами. Мой отец был также священник губернского города в богатом (!) приходе (доходы моего отца от службы простирались до 1500 рублей ассигнациями, и мы жили безбедно). Все товарищи были мне приятели; человек десять из них были со мной задушевные друзья. Сколько раз мяли мы бока друг другу в шуточной борьбе, — счета нет; словом сказать, в классе и «бурсе» (куда я ходил чуть не каждый день для дружеской беседы) со мною церемонились товарищи так же мало, как и со всяким другим. Но в гости ко мне ходили только двое или трое из товарищей, и то изредка; и надобно сказать, что они вовсе не были из числа ближайших моих друзей: они были не больше как приятели; но они не совестились посещать меня в моем семействе потому, что у них была приличная одежда и обувь. Ничто не может сравниться с бедностью массы семинаристов. Помню, что в мое время из 600 человек в семинарии только у одного была волчья шуба, — и эта необычайная шуба представлялась чем-то даже не совсем приличным ученику семинарии, вроде того, как если бы мужик надел брильянтовый перстень. Помню, как покойный Миша Левитский, не имевший другого костюма, кроме синего зипуна зимой и желтого нанкового халата летом, — помню, как этот первый мой друг не решался навестить меня, когда я недели три не выходил из дому, будучи болен лихорадкой; а между тем мы с Левитским не могли пробыть двух дней не видавшись, и когда он не ходил в класс, я каждый день приходил к нему<sup>9</sup>. Короче сказать, как ни умеренна была степень знатности и богатства моей семьи, но почти для всех моих товарищей войти в мой дом казалось так же дико, они чувствовали бы себя в нем такими же бедняками и ничтожными людьми, как я чувствовал бы себя в салоне герцога девонширского. С той поры, конечно, многое изменилось в нашей семинарии; но не настолько, чтобы рассказ мой сделался совершенно обветшавшею стариною.

Очень может быть, что и в нижегородской семинарии около 1850 г., когда учился Николай Александрович, было не совсем так, как в мое время, около 1845 г., в саратовской семинарии; но не думаю, чтоб разница была значительная.

Теперь, как я слышу, в многих, а быть может, и во всех семинариях уменьшилось или совсем вывелось пьянство. Но в мое время в саратовской семинарии никакое сходбище семинаристов не могло не быть попойкою. Николай Александрович был настолько моложе своих товарищей, что не годился бы быть участником попок, если бы жизнь в семействе и не удерживала его от подобной склонности. Вот другая причина, по которой он довольно редко виделся с товарищами вне классов (впрочем, в «бурсу» он довольно часто ходил к товарищам, навещал и товарищей, живших на квартирах, как видно будет из его семинарского дневника, напечатанного на следующих страницах). Не думаю, чтобы в нижегородской семинарии кутили тогда так сильно, как в саратовской в мои времена, более старые и грубые. Но М. Е. Лебедев упоминает, что его товарищи все-таки сильно кутили. А потом еще — разница лет: когда я перешел в реторику, из моих 122 человек товарищей только четверо имели по 14 лет и только один был 13 лет, — и мы смотрели на него, как на ребенка. Этот юноша кутил очень сильно и с необычайным усердием выделывал всякие молодецкие штуки; но все его ухарство было недостаточно, чтобы товарищи смотрели на него, как равного себе. Николай Александрович перешел в реторику, имея только 12 лет. Он действительно не мог по своим летам войти в жизнь товарищей.

Делаю эти замечания для людей, не знакомых с семинарскими обстоятельствами, в предупреждение недоразумений. Но для семинариста довольно было бы знать: отец — член консистории; в гостях у отца бывают важные чиновники, иногда заезжает к нему даже сам архиерей; сын не пьет вина, и при переходе в реторику имеет только 12 лет, — ясно, что домашнее знакомство с этим учеником невозможно почти ни для кого из товарищей и участником интимной жизни своих товарищей он не может быть.

Возвращаемся к записке М. Е. Лебедева. Вот как он рассказывает об отношениях Николая Александровича к его бывшим товарищам по отъезде его в Петербург:

«В его первых письмах из Петербурга выражалось совершенное невнимание к красотам столицы, полное хладнокровие к ним, которое он заметно старался передать и тем, кто требовал от него подробных описаний. А как у семинаристов водится описывать всякий город, куда метнет их судьба учиться, то молчание Добролюбова было очень неприятно для его товарищей. Нашлось довольно людей, которые, нисколько не сговариваясь между собой, прямо осудили его за то, что он корчит из себя уж очень умного человека, на которого будто не действует никакая внешность. Упреки в гордости, в невнимательности к товарищам и тому подобное посыпались отовсюду... Зато, без всякой просьбы с их стороны, Николай Александрович делился с знакомыми теми идеями, какие он встретил или развил в институте; он высылал целые тетрадки выписок, печатные листки, по почте или с верными людьми,

к некоторым знакомым, к профессорам; он звал их на честную, благоую деятельность, рисовал им идеалы обязанностей, преимущественно священнических; в приезды в Нижний он довершал такие сношения лично. Но всегда его хлопоты оставались безуспешны. Правда, он трогал, шевелил сердце, видел, что убеждались его доводами, но большая часть возражала одним страхом и опасениями за его будущность, советовала бросить завиральные идеи; очень немногие, сознавая бессилие, горевали с ним гражданским горем и никто не попробовал приложить разобранных с ним идей к делу... Были люди, которые после выражения сочувствия ему выражали более сочувствия питейному откупу... С появлением его в литературе развилась в семинарии преимущественно гордость похвальбы им; были упреки в дерзости; задавались вопросом, чем-то он кончит; более ничего».

В первых письмах Николая Александровича из Петербурга к родным виден тот же самый характер, которым обижались его товарищи. Матери, отцу, двоюродному брату, теткам он точно так же говорит, что описывать Петербурга он не хочет, что мало и смотрел на него, да и нельзя ясно изобразить Петербурга людям, не выдавшим ничего, кроме Нижнего. В письмах к родным этот отказ от описаний, конечно, уже не происходил от гордости. Дальше увидит читатель из слов самого Николая Александровича, что он, собираясь ехать в Петербург, не интересовался его зданием, а занят был другими мыслями.

Факты об усилиях Николая Александровича пробудить своих нижегородских товарищей к лучшей умственной и гражданской жизни находятся между прочим в дневнике, который вел он несколько времени в начале 1857 г., когда был в IV курсе Педагогического института.

Кроме этого дневника, мы нашли в его бумагах другой дневник, веденный в Нижнем, до отъезда в Петербург. Помещаем его здесь почти весь, за исключением лишь немногих страниц, лишенных интереса\*.

Впрочем, мы не совсем правильно назвали дневником эти записки, веденные в Нижнем-Новгороде: в течение пятнадцати месяцев Н. А. принимался за продолжение начатых мемуаров только 11 раз. Сначала, как видно, он действительно хотел записывать каждый день, но с первого же раза запустил время так, что уже

---

\* Весь он состоит из шести тетрадок, в каждой по 8 страниц; мы выпускаем из 48 страниц около 14. Имена и фамилии, напечатанные здесь только одними начальными буквами, так и написаны у Н. А., конечно, только потому, что не было надобности писать вполне имена, слишком знакомые. Ряды точек не обозначают пропусков, сделанных нами или находящихся в самом дневнике: это просто привычка Н. А. ставить ряды точек в отрывистой речи. С такими беспрестанными рядами точек написаны все его статьи, и теперь мы видим, что манера писать так явилась у него очень рано. Пропуски, действительно сделанные нами, мы обозначим на своих местах особыми оговорками.

поздно было даже и вспоминать день за днем. Потом он садился записывать только как будто по особенным случаям, когда происходила особенно важная новость в его жизни. Вот начало дневника.

«1 января, 1852 г.

Вот и еще один год «юркнул в вечность!» И еще год прошел, и еще годом сократилась жизнь моя. Грустно встретил я этот год, которого ждал я, можно сказать, с нетерпением. Много я надеялся на него и от него.... Но вот пришел он, и при самом вступлении его надежды мои рассыпаются прахом. Грустно, невесело!... Тяжелый день провел я ныне. Теперь (12-й час вечера) на дворе «бушует ветер, злится буря, свистит и воеет и бурлит», и это довольно близко к состоянию души моей. Я не сделал ныне ничего доброго и полезного. Встречая новый год, не хотел я спать всю ночь, но в два часа «лег полежать», — не больше, — и задремал, и уснул.... А свеча осталась на столе непогашенная, а книга лежала раскрытая. К счастью, огарок был невелик и, вероятно, скоро догорел и погас сам собой. Впрочем, может быть, погасила и няня. Я не говорил об этом ни слова, но целое утро был в каком-то смущении. Наделал было я дела, — подумал я проснувшись и прямо бросился в другую комнату к столу, свече и книге и, нашед все в целости, немало был удивлен и еще более обрадован.... Потом я поздно пришел к обедне, простоял у порога, сконфузился при исполнении нелепой фантазии, пришедшей мне в голову — поздравить в церкви А. Н. Ник....<sup>10</sup>, которая мне только кивнула на мое приветствие, и ушел, не достав молебна. Потом вздумалось мне итти поздравить мать крестную — Л. В. П.<sup>11</sup>; я пошел, встретил сухой прием, проскучал лишние полчаса в жизни, был раздосадован невниманием к себе, получил поручение, которое потом позабыл исполнить, и не знаю еще — как отделаюсь.... Дома оскорбил маменьку, но вскоре помирился. В половине 6-го пошел к одному из товарищей, хорошему знакомому В. В. Л....<sup>12</sup>, просидел там часа два ни скучно, ни весело, хотя смеялся очень много.... Оттуда мне чрезвычайно хотелось, необыкновенно хотелось побывать у постояльцев наших Ц....<sup>13</sup> и поиграть там с их прекрасными детьми.... особенно одна.... Там было бы так весело!... Все это думал я дорогой; но дома ждало меня достойное заключение этого чудного дня.... Нужно было случиться, чтоб у нас в этот день сбежала со двора наша корова.... Папенька и так ныне был довольно в худом расположении духа, по некоторым обстоятельствам; но когда сказали ему об этом, он окончательно расстроился; и, пришедши домой, я застал его в крайне мрачном расположении, особенно потому, что это случилось в новый год, и, следовательно, предвещало несчастья в будущем, — предрассудок, оказавший, однако, сильное влияние на папашу. К вящему несчастью, мамаша с старшей моей сестрой уехали к А. И. Н. на вечер, папаша был

один, и я должен был подвергнуться неприятностям. Сначала папаша пожалел о корове, побранил заочно работницу, — за дело! — и принялся писать свои дела.... Я подумал, что ждать мне больше нечего, взял свечу и пошел к себе в комнату. Но папаша позвал меня к себе и сказал, что «если б я мало-мальски радел отцу, жалел его, если бы у меня хотя немного было мозгу в голове, то я занялся бы этим делом, а не оставил его без внимания, будто мне все равно, хоть все гори, все распропади».... После этого нечего было ждать ласкового слова. Я-таки испугался предстоящей сцены и поскорее, по приказанию папаши, сошел в кухню и расспросил кухарку об успехах ее поисков, которые были совсем безуспешны. Узнавши это, я в точности донес папаше. Он стал что-то говорить, и вдруг, бог весть как, разговор перешел ко мне, и тут-то я должен был выслушать множество вещей, которых теперь и не припомню в подробности. Но только главный смысл их был таков: «Ты негодяй; ты не радеешь отцу, не смотришь ни за чем; не любишь и не жалеешь отца; мучишь меня и не понимаешь того, как я тружусь для вас, не жалея ни сил, ни здоровья. Ты дурак; из тебя толку не много выйдет; ты учен, хорошо сочиняешь, но все это вздор. Ты дурак и будешь всегда дураком в жизни, потому что ты ничего не умеешь и не хочешь делать. Вы меня не слушаете, вы меня мучите; когда-нибудь вспомните, что я говорил, да будет поздно. Может, я недолго уж проживу. От таких беспокойств, тревог и неприятностей поневоле захочешь умереть; лучше прямо в могилу, чем этак жить. Ничего в свете нет для меня радостного; нигде не найду отрады; весь свет — подлец; все твои науки никуда не годятся, если не будешь уметь жить. Умей беречь деньги; без денег ничего не сделаешь; деньги, — ох! — трудно достаются: надо уметь, да и уметь приобретать их; как меня не будет, вы с голоду все умрете; никакие твои сочинения тебе не помогут!... Из тебя ничего хорошего не выйдет; хило-гнило, хило-гнило; немного в тебе мозгу; а еще умным считаешься». Все это, на разные манеры повторяемое, я слушал от 8 до 11 часов, — ровно три часа.... Каково это вынести? Не в первый и не в последний раз слышал я эти упреки, но ныне они особенно были тяжелы для меня. Они продолжались три часа; произносились не с сердцем, не в гневе, но очень спокойно, только в необыкновенно мрачном и грустном тоне. Я не видел никакого повода к такому обороту разговора, хотя большею частию и сознавал относительную справедливость высказываемых замечаний. Но все это ничего бы: особенно поразили меня упреки в нелюбви, нерадении к отцу, пророческие слова о том, что из меня ничего не выйдет; всего же более эти жалобы на свои труды и беспокойства, на то, что недолго ему остается жить. Чуть не плачу и теперь, припоминая это. Однако мне не хочется верить, и я не смею верить этим словам. Но когда папаша говорил, я не смел, я не мог произнести ни одного слова, если он сам не спрашивал меня: «Так ли?» — на что я от-

вечал только: Так-с.... Я бы нашелся, что сказать; но у меня не доставало духу говорить.... Не понимаю, что это такое. А папаше это, видимо, неприятно.... Но что же делать? Не так, не так надо со мной говорить и обращаться, чтобы достигнуть того, чего ему хочется. Нужно прежде разрушить эту робость, победить это чувство приличия пред родным отцом, будто с чужим, смирить эту недоверчивость, и тогда уже явится эта младенческая искренность и простота.... Впрочем, что винить папашу? — я виноват, один я причиной этого. Должно быть, я горд, и из этого источника происходит весь мой гадкий характер. Это, впрочем, кажется, у нас наследственное качество, хотя в довольно благородном значении.... Однако чудный денек! Все так встречают новый год? Не правда ли?... Можно повеселиться!...»

«8 января, 4 часа утра...

Вот неделя прошла нового года, а я еще только раз открывал мой дневник. А все эта неотразимая лень, сильная своей «энергией слабости». Она даже уверила меня, что в эти дни нечего было записывать, и еще когда-нибудь уверит, что в моей ничтожной жизни вовсе нечего записывать, и потому дневник мой надобно прекратить... Но прежде чем сделать это, я спешу, — тем более, что опоздал извиниться перед новым годом за мои несправедливые нарекания, которые я делал ему и в стихах и в прозе. Право, он вовсе недурен для начала. Год как год. Ничего особенно страшного. Немножко, правда, холоден: градусов 20 и выше с 2 или 3 числа стоит постоянно; но это еще не великая беда. Однако не мешает припомнить что-нибудь по порядку.

2 числа, в среду, корова нашлась. Папаша успокоился, был очень весел, но за обедом все-таки, — не помню, по какому поводу, — повторено мне было извлечение из вчерашнего нравоучения, с особенным ударением на то, что во мне мозгу нет, и в приполнении таковым, что, дескать, напрасно я написал огромную задачу, где напорол множество чуши, а между тем своего дела не знаю. Нужно сказать здесь, что перед рождеством я написал сочинение о мужах апостольских, листов в 35, опустил при этом несколько казенных задач, и уже несколько раз мне доставалось за это... В этот день вечером ходил я к Ник., относил книгу — «Письма Святогорца»<sup>14</sup>, взял 2-ю часть их же; слышал там, что у них в тот день был преосвященный. Я спрашивал, не говорил ли он чего о папаше, но сказали, что ничего не поминал. Когда я, пришедши домой, сказал об этом папаше, он сказал: «Ну, уж от Ник. не жди добра, опять чего-нибудь напутают, наговорят. Все зло, ежели я что получил, так от них....» Вот подозрительность! Вот преувеличение! Жаль, что пишу я эти слова.... У Н. видел я. между прочим, madame, приставленную к детям Н. Л. Наз.<sup>15</sup> Это что-то новое для меня. По романам я представлял гувернантку именно таким несчастным существом, как ее описы-

вают; но это совершенно другое дело! Она жеманится, важничает, жалуется на угар, сердится, говорит: «я не могу», «я не хочу»; а ей все смотрит в глаза, все за ней ухаживает, все ей кланяется. Мне кажется, она весь дом заберет скоро в свои руки, если уж не забрала» \*.

«3 января. В четверг была у нас — «Ангел мой! Христос с вами! Душка мой! Ангел мой!...» — К. П. З.<sup>16</sup> — Странная женщина!... Нежна до приторности, чувствительна до обидчивости и слезливости, деликатна до сентиментальности. Словечка в простоте не скажет: все с ужимкой...<sup>17</sup> Раз я играл с ней в карты... Возможности нет; только и слышишь: «Позвольте мне спашевать», или: «Николичка! ангел мой! Будьте так добры, — передайте мне прикупку...» или: «А мне повистовать позволите?...» И все с такой раздирающей душу приторно-жеманной гримасой, таким рассыпающимся нежным голосом, с такой кисло-сладкой улыбкой, что я едва удерживался, чтоб не воскликнуть: «Прошу тебя: не мучь меня!...» Часто она пишет письма к папаше, такие же, как она сама; так и веет от них К. П. — ною, как от аптеки лекарствами. Признаюсь, и впечатление они на меня производят такое же, как аптека. Начинает она обыкновенно очень романтически, например: «Хижина в селе Борцове», — так называет она свой господский дом. Папашу обыкновенно зовет она в письмах вместо милостивый государь такой-то «Всегда благородный и никогда незабвенный духовник мой!...» или: «Всегда мне милый! Благодетель мой!...» Кроме того, в конце или в начале каждого письма пишет: «Цалую драгоценнейшие ручки ваши и детей ангелов цалую». Весьма приятная и образованная женщина!... Впрочем, мне еще придется поговорить о ней... Она обещала прислать мне книгу «Апостолы», по духу очень похожую на нее. На другой день я получил эту книгу и прочитал уже. Дрянная книжонка какого-то г. Яковлева, впрочем очень хорошая для подобных К. П. З. Может быть, автор на них и рассчитывал».

«16 января.

(Вот как я ленив! Когда я дописал тот лист, под рукой не было другого — я поленился встать и вынуть его, и таким образом провел больше недели!.. Каково?..)

Биографическая важность рассказа, относящегося к 1 и 2 января, видна сама собою. Рассказ, относящийся к 3 января, показался нам интересен потому, что он показывает, как зорко подмечал 16-летний семинарист пошлость в людях, кажущихся идеалом изящества для других юношей того круга, в котором воспитывался Н. А. Вслед за тем идет место, рассказывающее нам пер-

\* Здесь выпущено нами несколько строк, говорящих о женитьбе одного из родственников Н. А.

вый случай, или один из первых случаев, проявления мечты об университете; судя по тону рассказа, надобно полагать, что Н. А. уже и прежде думал об этом, но еще не говорил ни с кем:

«4 был я у Л. Ив. С.<sup>18</sup> Заговорили о Н. А. В., отправившемся в нынешнем году в университет, и Л. И. сказал, что он пишет к нему, что экзамен сдал хорошо и легко, что заниматься там легче, чем даже в семинарии. А уж чего легче заниматься в семинарии. Я нисколько не занимаюсь, и все-таки из первых не выхожу. Я сказал, что и мне хотелось бы поступить туда же. Л. И. даже обрадовался этому, очень охотно стал со мной говорить об этом, сам вызвался написать к Н. А. о моем желании и сказал даже, что «он (то есть Н. А.) и программой может послужить». Кроме того, он давал мне несколько советов, как вести себя в семинарии, чтоб успеть приготовиться и чтобы меня не стали удерживать в семинарии, и еще сказал: «Нет ли из ваших прихожан кого-нибудь знакомого с Погодиным?»<sup>19</sup> Он может одним благосклонным словом сделать для вас многое». Это надо принять к сведению. Мы разошлись, и Л. И. сказал, что мы еще об этом потолкуем.... Но после я был у него раза два и нам еще «потолковать» не удавалось.... Впрочем с тех пор я начал серьезно об этом подумывать. Главное затруднение теперь в том, что я плохо знаю языки: латинский довольно хорошо, греческий плохо, немецкий еще хуже, а французского вовсе не знаю. А учителя для меня теперь нельзя нанять, потому что я учусь на фортепиано, а платить двум учителям вдруг тяжело.... Впрочем, из чего можно, я готовлюсь».

После этого я пропускаю 11 страниц, не заключающих в себе ничего интересного\*. Последние из этих выпущенных страниц писаны 22 февраля и содержат окончание рассказа о поездке с отцом в гости к дяде, бывшей 16 января, и о том, что 17 января Н. А. ходил посмотреть с хор залы благородного собрания на происходившие тогда дворянские выборы. Это писано, как мы заметили, 22 февраля, — таким образом, Н. А. отстал слишком на месяц в записывании своих воспоминаний и после того на четыре месяца бросил записывание. Прямо за строками о 17 января, писанными 22 февраля, следует:

«17 июня.

Пора возобновить забытый мой дневник, излить в нем новые живые впечатления, которые я ныне получил. Да, это стоит того, чтобы записать, и я займусь этим теперь же, пока еще не прошел первый пыл моего восторга, который, надо заметить, проходит необыкновенно скоро. Оставляю все свои воспоминания и заметки: теперь не до них, когда-нибудь в другое время. Я слыш-

---

\* Далее выброшена по той же причине одна страница между тем, что написано 24 января и 15 марта 1853 г.

ком занят настоящим. Нынешний день я познакомился с Иваном Максимовичем Сладкопепцевым\*, — давнишнее мое желание и цель, к которой я стремился с пламенной ревностью, но которая никогда бы не была, вероятно, достигнута без особенно счастливого стечения обстоятельств<sup>20</sup>. Вот в чем дело. Иван Максимович после пасхи нынешней стал учить у нас немецкому языку, вместо П. А.<sup>21</sup>, который отказался по случаю определения своего в попы к Покрову. По этому случаю Иван Максимович немного узнал меня, особенно потому, что он уже познакомился с папашей на свадьбе у Лебед...<sup>22</sup> Потом женился товарищ и бывший друг Ивана Максимовича, А. А. К.<sup>23</sup>, взял дочь Гордеевского священника, в которой-то степени родственницу моей тетушке, В. В. К.<sup>24</sup> — Иван Максимович был шафером; тетушка была на свадьбе: они познакомились. После того как-то Иван Максимович был и у них, то есть у моего дядюшки Л. И. К.<sup>25</sup> с тетушкой В. В., и тут-то был разговор обо мне. Тетенька, которой я уши прожужжал Иваном Максимовичем, сказала ему о моей чрезвычайной привязанности к нему; Ив. Максимович очень ловко отклонил от себя это довольно щекотливое обстоятельство, похвалил меня, заговорил о моих занятиях и сказал даже, что он бы желал со мною познакомиться. Все это было довольно давно; но он с тех пор не переменил своего обращения со мною, и на немецких классах не подавал ни малейшего вида, что отличает меня от других. Поэтому я боялся, или, лучше, совестился — ни с того, ни с сего итти к нему и ожидал все, не представится ли случай обратиться к нему как к наставнику. Но такового не представилось, и я все не был знаком с ним, хотя и пламенно желал этого, то есть так пламенно, как только могу я желать; а у меня натура довольно холодная. Наконец представился довольно благовидный предлог, под которым мог я явиться к Ивану Максимовичу и по крайней мере посмотреть, что из этого будет. Я спрашивал в семинарской библиотеке книгу; мне сказали, что она у Ивана Максимовича, что он взял ее очень давно и что я могу попросить эту книгу у него. В самом деле — не было ничего проще, и к кому-нибудь другому я бы, ни минуты не задумавшись, сходил и взял. Но при мысли, что нужно итти к Ивану Максимовичу, мне было как-то неловко, как-то боязно, и я все не мог решиться сходить к нему и, вероятно, не пошел бы вовсе, если бы не помогли тут особенные счастливые обстоятельства, которые как-то вообще довольно ко мне благосклонны, особенно во всем, что касается внешности. В самое время моего глубокого раздумья, которое обыкновенно начиналось во мне всякий раз,

\* Это имя у Н. А. написано сокращенно, мы печатаем его вполне. Мы не знаем, жив ли г. Сладкопепцев; но если он жив, пусть он знает, какою привязанностью платил ему бывший его ученик за то, что он обращался с семинаристами по-человечески и не скрывал своих честных мнений от молодых людей, искавших истины.

как мне было нечего больше думать, моя тетушка сообщила мне о своем разговоре с Иваном Максимовичем. Дядюшка сказал мне о желании его, чтобы я пришел к нему; а с другой стороны И. А. В.<sup>26</sup> как-то сообщил мне, что итти к наставнику и выпросить книгу, взятую им из семинарской библиотеки, нет ничего легче, что это делается очень часто и вообще всеми принимается как вещь самая обыкновенная. Я наконец решился (надо заметить, что г. И. Г. Ж.<sup>27</sup> прежде отговаривал меня от этого, представляя, что это неловко); но, решившись, просбирался с неделю и наконец ныне зашел к нему почти нечаянно, почти не думая итти к нему. Вот судьба! Впрочем некогда, некогда — спрятать скорее, завтра окончу рассказ о своих похождениях».

«11 ноября.

Вот и завтра!... Оно продолжалось до сих пор, и теперь уже поздно описывать подробности моего знакомства с ним, когда оно так неожиданно прерывается. Да, я с ним познакомился, и даже наши отношения достигли некоторой короткости, но я был недостоин этого счастья, и оно улетело от меня. Теперь не будет вокруг меня ни одной души, к которой я чувствовал бы сердечную привязанность (исключая, разумеется, ближайших родных — отца и матери), с которой мог бы отдохнуть в веселом или умном разговоре от пустоты моей жизни.... Боже мой! Люди пристращаются к красотам природы, к картинам, к статуям, к деньгам, и они не имеют препятствий для наслаждения ими. Все эти вещи могут принадлежать им, быть их неотъемлемой собственностью, если только не принадлежат всем, что также не мешает всякому наслаждаться ими... Чем же виноват я, что привязываюсь к человеку, превосходнейшему творению божию? Чем я несчастлив, что моя душа не любит ничего в мире, кроме такой же души? Ужели преступление то, что я инстинктивно отгадываю ум, благородство, доброту человека и, отгадавши, всеми силами души моей привязываюсь к нему? И за что же наказывать меня, за что отнимать у меня мое счастье, когда оно так чисто, невинно и благородно? Сколько ни имел я привязанностей, всегда злая судьба умчит от меня далеко любимый предмет, и в душе — тоскливое воспоминание и горькое сознание своего отчаяния... Я рожден с чрезвычайно симпатическим сердцем: слезы сострадания чаще всех вытекали, бывало, из глаз моих. Я никогда не мог жить без любви, без привязанности к кому бы то ни было. Это было так, что я себя ни запомню. Но эта постоянная насмешка судьбы, по которой все мои надежды и мечты обыкновенно разлетались прахом, постоянно сушит и охлаждает мое сердце, и нет ничего мудреного, что скоро оно будет твердо и холодно, как камень. Вот хоть бы и теперь — что вдруг понадобилось Ивану Максимовичу в Тамбо-

ве? Чем ему нехорошо здесь? Что за обстоятельства?... А между тем я страдаю, и еще как страдаю — тем более, что мне этого ни перед кем нельзя выказывать: все станут смеяться. Я бешусь только внутренно и произношу тысячу проклятий. Но какие проклятия, какие слова выразят то, что я чувствую теперь в глубине души моей! Я пробовал все энергические восклицания русского народа, которыми он выражает свои сильные ощущения, но все, что я знаю, — слабо, не выражает.... и я попрежнему взволнован, и попрежнему в душе моей кипит и бурлит страшное беспокойство. Я теперь наделал бы чорт знает что, весь мир перевернул бы вверх дном, выцарапал бы глаза, откусил бы пальцы тому.... \* который подписал увольнение Ивана Максимо-вича. Но, увы! это ни к чему не поведет, и мне остается только стараться смирить свои бешеные порывы.... И еще считают меня за человека хладнокровного, чуть не флегматика!... Тогда как самые пламенные чувства, самые неистовые страсти скрываются под этой холодной оболочкой всегдашнего равнодушия. Если бы мне вдруг сказали, что меня исключают из семинарии, это не поразило бы меня так, как известие об отъезде Ивана Максимо-вича. О, как огромно это бедствие, как незаменима моя потеря! С кем теперь могу я провести вечер так незаметно, так счастливо, как с ним? В чьем разговоре могу отвести я душу, забыть-ся от этих мелких неудовольствий, составляющих несчастье моей жизни? Я никогда не поверял ему сердечных тайн, не имел даже надлежащей свободы в разговоре с ним; но при всем том, одна мысль — быть с ним — делала меня счастливым, и после свидания с ним, и особенно после вечера, проведенного с ним наедине, я долго-долго наслаждался воспоминанием и долго был под влиянием обаятельного голоса и обращения. Что-то особенно привлекало меня к нему, возбуждало во мне более, нежели просто привязанность, — какое-то благоговение к нему. При всей короткости наших отношений я уважал его, как не уважал ни одного профессора, ни самого ректора или архиерея, — словом, как не уважал ни одного начальника. Ни одним словом, ни одним движением не решился бы я оскорбить его; просьбу его я считал для себя законом. Вздумал бы он публично наказать меня, я послушался бы, перенес наказание, и мое расположение к нему нисколько бы от того не уменьшилось.... Как собака я был привязан к нему, и для него я готов был сделать все, не рассуждая о последствиях. За него я стоял горой и готов был возненавидеть человека, который стал бы доказывать, что Иван Максимович нехороший человек. Но, к счастью, этого никогда не случалось: его любили и хвалили все. Его душа, благородная и высокая, во всех более или менее возбуждала чувство любви и уважения. Но, конечно, никто не любил его более меня.... Я сле-

\* Здесь выпущено нами несколько слов.

дил за каждым его взглядом, за каждым движением, подмечал каждое изменение его голоса, и все в нем казалось мне совершенным, превосходным.... и вдруг, о боже мой!... лишиться всего этого, лишиться так внезапно, так неожиданно! Как хотите — это жестоко, невыносимо.... «О жизнь, жизнь, — говорил он, — чего-то в ней не случается, куда-то не кидают нас обстоятельства!» Но он едет на родину, к друзьям и знакомым, он не оставляет здесь ничего, что бы ему было особенно дорого — что ему? Побудет там месяц-другой и позабудет всех нижегородцев, с которыми он не успел еще сродниться. Да и что могло представиться ему интересного, достойного его внимания? Все пошло, глупо, мелко, ничто не удовлетворяет порывов высокого ума, глубоко чувствующего сердца. Но я остаюсь без него, как в пустыне без проводника и товарища, от меня он уносит лучшую половину души моей, так же, как уносит мои лучшие надежды и желания. Нынешний вечер сидел я у него, и чудные, непонятные желания томили меня.... Голова моя горела; мне хотелось то расплакаться, то разбить себе череп, то броситься к нему на шею, расцеловать его, расцеловать его руки, припасть к ногам его. С грустным отчаянием смотрел я на него, наглядываясь, может быть, в последний раз, и никогда еще, казалось мне, черные волосы его не лежали так хорошо в чудном беспорядке на голове его, никогда смуглое, мужественное лицо его не было так привлекательно, никогда в темноглазых глазах его не отражалось столько ума, благородства, добродушия и этого огня и блеска, в котором высказывалась сильная и могучая душа его. Я мысленно прощался с ним, и сердце мое надрывалось. И вот жизнь наша: были знакомые, в хороших отношениях, души наши сроднились несколько, и вдруг — несколько сот верст расстояния разделяют нас, и мы ничего не знаем друг о друге, и мы чужие один другому, и нет между нами ничего общего. Я даже не могу иметь и последнего утешения разлучающихся — не могу просить от него тех «несколько строк», которые так жадно получил бы я от него! Не знаю даже, станет ли у меня духу высказать ему, как я был привязан к нему, высказать хоть сотую долю истины? Господи! Неужели же мы расстанемся, как простые знакомые, которые случайно сошлись и должны разойтись также случайно? О, не дай господи! Даруй мне силу открыть ему мое сердце, и ему внимание — выслушать меня и благоклонно принять мои признания не с легким смехом, но хоть с легким чувством!...»

«19 ноября 1852 года.

Он наконец окончательно простился со мной, кумир души моей, мой идеал, мой добрый гений!... Коротко и неожиданно было для меня наше прощание, и я не успел высказать многого, что хотел сказать, и только едва успел выпросить у него по-

зволения — писать к нему. Ныне после класса я зашел к нему, — нет дома. Посидев у подлекаря в больнице, я опять пошел к нему, опять не застал, походил и побыл еще в больнице, и наконец нашел его дома. Он был несколько расстроен, занимался сборами, на меня обращал очень мало внимания, и наконец, напившись чаю, он собрался итти на именины к А. Е.<sup>28</sup>, в последний раз провести вечер в кругу нижегородских знакомых. Я пошел вместе с ним; дорога была очень неровная и скользкая, ночь очень темная, разговаривать было очень неловко. Однакоже я начал было что-то, надеясь высказать ему очень многое, но вдруг он сказал, что надо взять извощика, крикнул: «Извощик», тотчас же явился какой-то, и только успел я сказать ему: «Прощайте же, Иван Максимович», он пожал мне крепко руку, поцеловал трижды, пожелал быть счастливым, но не так, как он, и сел в сани. Тут я просил позволения писать к нему, хоть не отсюда, а из другого места. Он сказал, что ему «будет очень приятно, и что отсюда ему будет еще интереснее, а уж если вы будете в академии, то разумеется...» Потом он еще раз сказал мне: прощайте, пожал мне руку и скрылся из глаз моих в темноте ночи. Вот и прощанье наше! Мне чрезвычайно грустно и как-то тяжело на сердце, особенно потому, что я ему не высказал всего, что хотел высказать, и расстался с ним просто, без всяких особенных объяснений. Но я напишу к нему. Подожду месяц, уверюсь окончательно, что мое теперешнее чувство не порыв разгоряченного воображения, не пустая фантазия, не обман сердца, и тогда выскажу ему все, что волнует душу мою. Но чтобы навсегда была драгоценна для меня память его, я даю обещание перед своею совестью.... \* я решительно хочу оградиться этим воспоминанием, как щитом и покровом... Да и от какой низости не удержит образ этого благородного, мужественного, доброго и вполне умного человека?... Во мне всегда мысль о его достоинствах возбуждала благородное чувство и стремление к подражанию, и я с новой силой, с новой энергией принимался за дело; и ум мой как будто прояснялся и терпение возрастало, и все существо мое оживлялось и возвышалось, и какое-то священное одушевление разливалось во мне и поддерживало меня в моих занятиях. О, как жаль, что я теперь не могу жить одним воспоминанием и что не может теперь уже повториться влияние его на меня, столько благотворное для меня и делавшее меня так счастливым, так веселым, так довольным... Прощай — все!..»

Приостанавливаемся тут, потому что в бумагах, оставшихся после Н. А., нашелся отрывок, который надобно поместить здесь, в дополнение к этой части дневника.

---

\* Здесь мы выбрасываем восемь строк, заключающих в себе домашние тайны, о которых и не нужно и неинтересно было бы знать публике.

«Нижний-Новгород,  
31 дек. 1852 г.

М. Г.

И. М.

Давно уже хотелось мне злоупотребить данным вами позволением — писать к вам. Но меня все удерживала мысль, что я должен купить это удовольствие ценою вашей скуки. Долго я не решался; наконец придумал средство — удовлетворить потребности сердца, не докучая вам. Я решился писать и потом оставлять у себя написанное. Когда-нибудь, может быть через несколько месяцев, а может и через несколько лет, я передам вот эту тетрадку, и вы зараз отделаетесь от всей этой скуки, если, разумеется, захотите прочитать это писание. По крайней мере я выскажу на бумаге то, чего никогда не решался сказать вам на словах. А много еще, много хотел бы я сказать вам, много собирался открыть заветных мыслей — обо мне и о вас... Судьба судила иначе, и я расстался с вами, не успев, с обыкновенной робостью моей, в пять месяцев знакомства с вами высказать даже того, сколько я был к вам привязан. Но вы сами заметили это и более нежели слишком вознаградили меня: иначе, чему же приписать мне ваше благосклонное внимание, ваше сближение со мною, который дорожил каждым вашим словом, старался подмечать каждый взгляд ваш?... Благодарю вас за все, — вот что только могу я сказать теперь; но что же вам моя благодарность, что моя привязанность? Вы не можете быть уверены, подобно мне, что никто не любил и не уважал вас столько, как я. Другие, может быть, умели сказать вам это прежде, а я решаюсь говорить только теперь, когда не вижу вас перед собою, когда вы не видите плающего лица моего, не слышите дрожащего моего голоса.... А как, бывало, хотелось иногда поговорить с вами откровенно, со всем увлечением юношеского сердца, со всеми порывами, которые я так тщательно скрывал от всех! Иногда я даже заводил подобный разговор и делал несколько неясных намеков, — оставалось произнести несколько решительных слов, после которых рекою полились бы признания, — но этого-то я и не мог.... Со мною сбывалось то, что говорит Огарев в «Исповеди»:

Что только лишь сказать вочу,  
Как вдруг в лице весь вспыхну,  
Займется дух, и я молчу  
И головой поникну....

Конечно, может быть мои признания навели бы на вас скуку; но зато сколько был бы счастлив я, счастлив в эти минуты тем эгоистическим счастьем, которое занимается только собою и не обращает внимания на других, даже виновников этого счастья. Но зато хоть теперь позвольте мне рассказать вам отрывок из моей душевной жизни, именно о знакомстве с вами. Про-

стите мне, — я знаю, что для вас несколько не интересно знать, что думал и говорил о вас один мальчик из ваших бывших учеников, который не имеет теперь к вам никакого отношения; но говорю вам, что я пишу собственно для своего удовольствия, чтобы удовлетворить неодолимому желанию сердца, а не для того, чтобы сколько-нибудь занять вас. Еще раз простите меня, пожалуй не читайте дальше; но я не могу не писать, не могу допустить мысли, что мы теперь совершенно чужды друг другу и что все сношения наши прерваны. Мне стыдно, мне жалко своего ничтожества пред вами, я вполне чувствую, что беспокою вас, надоедаю вам своим вздором; но при всем том, что-то чудное, для меня самого неразгаданное, заставляет меня докучать вам. Иван Максимович! будьте снисходительны ко мне, как прежде, и простите юношеское увлечение, которое тем сильнее, чем дольше было от всех скрывается!

Итак: — как теперь помню я первую весть и первый отзыв о вас, когда вы только еще приехали в нижегородскую семинарию. В двенадцать часов, шедши из классов, услышал я от одного из ваших тогдашних учеников, что у них в классе был новый профессор — Сладкопевцев. При этом, не знаю почему, я тотчас спросил: «Да как же его зовут?» — «Иван Максимович», — отвечали мне. «Ну, что же, каков?» — «Молодец во всех отношениях: и умен, и благороден». — «Из петербургской академии?» — «Из петербургской». — «Надобно будет посмотреть. Каков он собой-то?» — «Черен только очень, а то хорош». — «Как-нибудь надо увидеть...» Мы разошлись, и этим разговор кончился. И после этого, повидимому пустого, разговора, я уже не мог успокоиться. Смутно я постигал что-то прекрасное в этом соединении понятий: брюнет, из петербургской академии, молодой, благородный и умный... Не говоря уже об уме и благородстве, надо заметить, что я особенно люблю брюнетов, чрезвычайно уважаю петербургскую академию и молодых профессоров предпочитаю старым. Я с нетерпением ждал минуты, когда увижу вас, и во все это время я чувствовал что-то особенное... Чего ищешь, то обыкновенно скоро находишь: на следующий же день я с полчаса прогуливался по нижнему коридору, и дождался-таки вас. Правда сказать, при моей близорукости, я не мог хорошо рассмотреть вашей физиономии; но и один беглый взгляд на вас достаточен был, чтобы произвести во мне самое выгодное впечатление. Я люблю эти гордые, энергические физиономии, в которых выражается столько отваги, ума и мужества. Признаюсь, я несколько ошибся тогда, признавши вас существом гордым и недоступным; но это было тогда полезно мне тем, что я стал с того времени считать вас чем-то высшим, неприступным, пред чем я должен только благоговеть и смиренно поглядывать вслед, жалея, что не могу взглянуть прямо в глаза. И тем приятнее было мне после разувериться, и тем совершеннее было мое

счастье.... Вскоре после того разнеслась весть о вашем поступке с учениками В. и С. Много было тогда шума, много толков по всей семинарии.... Боже мой! Сколько пересудов, сколько брани, сколько ожесточенных угроз посыпалось на вашу голову! Я не мог терпеть этого: горой встал я за вас, ссорился со всеми, кто только мог со мной ссориться, спорил, бросал на ваш поступок взгляды философские, рассматривал его на основании закона христианского и решительно не мог найти в нем ничего предосудительного. И один только голос отозвался вначале на мои крики, голос Ив. Злат., известного вам ученика вашего. Все прочие называли нас подлецами; а один, считавший себя моим другом, говорил даже мне: «Что ты, дескать, больно по новом-то ревнуешь? Против него теперь просто все озлоблены; смотри, не попадись!...» Пожалуйста, не беспокойся, говорил я ему; вот, посмотри, пройдет какой-нибудь месяц, и все станут говорить то же, что я, — что лучше Ивана Максимовича не бывало профессора в нашей семинарии. И действительно скоро все заговорили иначе: вы умели привлечь к себе этих озлобленных учеников, от которых ваша жизнь могла быть в опасности, как уверял Л. Ив.!... Такова сила душевного превосходства над самыми грубыми людьми, каковы наши бурсаки!»

«6 января 1853 года.

С тех пор три дня особенно заметил я в своей памяти до действительного знакомства с вами: 29 ноября 1851 и 23 января и 7 февраля 1852 года. В первый из этих дней вы приходили к нам на немецкий класс вместо П. А. и спрашивали меня. Сколько мечтаний пробудилось тогда во мне! Сколько надежд приятно ласкали меня еще в то время, когда я шел в класс! Теперь припоминаю я подобное нетерпение и ожидание в то время, когда, за год с лишком перед тем, ждали в Нижний великих князей Николая Николаевича с Михаилом Николаевичем. Но то ожидание было ничто в сравнении с нетерпением, с которым я ждал вашего прихода в класс! Наконец вы явились\* меня, заставили переводить; мы переводили о крестовых походах; спросили кстати, в котором веке жил Григорий VII?<sup>29</sup> Я не знал тогда этого и сказал, что в XIII. Вы заметили мне, что нет, и я сконфузился и покраснел, как сказавший ужасную глупость и заслуживший от вас невыгодное мнение. Долго горел я от стыда, что показал перед вами свое незнание, и только тогда немного успокоился, когда, справившись, увидел, что Григорий жил в конце XI и в начале XII века. «Ну, еще это ничего, — подумал я. — Иван Максимович подумает, что я как-нибудь ненарочно смешал, одно столетие ничего не значит». Таким образом, хоть ложными аргументами, я на этот раз успокоился.

\* Здесь оторван угол листа, и мы не можем разобрать слова, первая половина которого оторвалась; вероятно, что-нибудь вроде: «вызвали».

В другой раз приходили вы к нам на латинский класс, 23 января 1852 г. В этот раз вы также спрашивали меня переводить и заметили, что не нужно очень скоро читать и что не в этом состоит достоинство хорошего чтения. Это было для меня очень чувствительно, потому что действительно до этого времени я полагал, по крайней мере частью, и в этом достоинство хорошего чтения. По-латыни я знал хорошо и перевел тогда не дурно, но все-таки не отличился. А отличиться чем-нибудь в ваших глазах было необходимою потребностью души моей. Но отличиться было нечем. Тщетно искал я случая и возможности, тщетно придумывал разные глупые средства. Здравый смысл всегда меня удерживал при одних предположениях. Зато случай как-то представился сам: я встретился с вами в четверг на масленице, 7 февраля 1852 г., в коридоре. Не знаю, слышали ли вы что-нибудь обо мне, знали ли моего папеньку, или просто так заговорили со мной, но вы заговорили, и я вдруг исполнился какого-то восторга и, кажется, чрезвычайно поглупел и растаял. — Я снял фуражку перед вами в почтительном отдалении \*, едва отвечая на ваш вопрос о том, где собрались ученики философии. Вы заметили мне, чтоб я надел фуражку; но мне казалось это нестерпимую дерзостью, и я продолжал стоять без фуражки, ничего не отвечая, так что вы усомнились, есть ли со мной фуражка, и спросили меня об этом. Наконец я решился послушаться вас в этом случае, — и это, вероятно, один из тех весьма редких случаев, когда бы я не послушался вас с первого слова. Потом вы начали говорить со мной так хорошо, но главное так ласково и откровенно, что я решительно был вне себя от радости, и удовольствие слушать вас смешалось во мне с гордостью и самодовольствием, оттого что я был и говорил с вами. Это были счастливые минуты для меня».

*«15 января 1853 г.*

Но это была только заря благодатного дня. После этого с лишком четыре месяца я не имел с вами никаких отношений, и не знали вы, проходя тогда мимо меня, с какою любовью глядел я на вас, каким участием к вам было наполнено это сердце. Я принимал близко к сердцу всякую перемену в вашем положении, всякую, даже ничтожную весть о вас. Я, например, страшился за вас, когда слышал о вашем будто бы близком знакомстве с А. А. К., когда говорили мне, что драгоценный наш О. П. невыгодно отзывался о вас пред архиереем, и т. п.; радовался, слыша о вас хорошие отзывы, когда, например, вас расхваливали все ученики за первый экзамен, на котором вы были; когда моя тетушка Варвара Васильевна восхищалась вашим умом и образованием. Но особенно беспокоился я о вас во время вашей дву-

\* Для не знающих семинарского быта заметим, что таково правило, которого нарушать не дозволяется.

кратной болезни, когда так хорошо заставили вас, еще не совершенно здорового, явиться на небывалый экзамен перед рождением. На святках я несколько раз приходил в семинарию, чтобы спросить подлекаря Сокол. о вашем здоровье, и не мог довольно нарадоваться, когда узнал, что вы выздоровели. Но что же было со мной, когда наконец я сошелся с вами ближе?... Но я не могу утерпеть, чтобы не припомнить некоторых, скучных для вас, но интересных собственно для меня, подробностей.

Дело было таким образом. Мне нужна была одна книжка «Христианского чтения» 1847 года, и я пошел в библиотеку. Хозяин библиотеки Е. Понятовский сказал мне, что эта книга у вас. Это представляло мне прекрасный случай по крайней мере побывать у вас, и я решился им воспользоваться. Но — увы! — решительность моя тотчас исчезла, как только я пошел к вам. Мне представлялось это почему-то неловким, дерзким; я думал, что это может быть неприятно для вас. С половины дороги воротился я и потом больше недели собирался сходить к вам. Однажды встретились вы мне в коридоре и я хотел спросить о книге; но тотчас представилось мне, что, «если И. М. скажет, что книги нет у него, — и только, то случай быть в его квартире опять потерян для меня, и может быть невозвратимо». И хорошо, что не спросил я тогда. Наконец 17 июня я решился.... С каким трепетом отворил я заветную дверь; как билось мое сердце, когда, вошедши в прихожую, услышал я шаги ваши в смежной комнате!... Чуть слышным дрожащим голосом объяснил я вам причину своего прихода и покраснел, когда вы сказали: «нет....» С смущением и сожалением хотел уже я уйти, как вдруг, — не скажу неожиданно, но вопреки всем моим расчетам, — вы пригласили меня посидеть у вас. Я давно уже мечтал о знакомстве с вами, и это была одна из любимейших дум моих; но я всегда и оставлял ее как мечту, несбыточную в настоящем моем положении. Никак не полагал я, чтобы вы были столько снисходительны. Поэтому хотя ваше приглашение отвечало тайной мысли моего сердца, однако я с удивлением услышал ваши приветные слова, смешался еще более, а счастье было так полно, что я не имел сил притвориться, и остался у вас, хотя сам не понимая хорошенько, что же из этого выйдет.... Напрасно старался бы я описать весь тогдашний восторг мой, все счастье, которым я наслаждался, слушая вас и смотря на благородные черты лица вашего вблизи, так, что в первый раз тогда я хорошо рассмотрел вас. Совершенно забывшись, вне себя от восторга, я часа четыре пробыл у вас и, уходя, не позаботился даже извиниться, даже не подумал, что я утомил вас: я думал только о себе. Как великому счастью, как великой милости судьбы, радовался я тому, что мог услужить вам, оставивши у вас книжку «Современника». Притом это открывало мне возможность продолжать вперед свои посещения... Давно не радовался я так искренно и полно, как в тот день.

К сожалению, я недолго пользовался своим счастьем: через месяц наступили вакации, и вы уехали. Но прежде этого случилось еще одно обстоятельство, которое также надолго останется для меня памятным. Это было на экзамене. Спрашивали по вашему предмету: сидели вы и Андрей Егорыч. Вызвали меня, и досталось мне читать по психологии о памяти: статья очень значимая и простая сама по себе, но очень запутанная и отрывистая в наших лекциях. Я стал читать, остановился, снова принялся, опять встал и сбился. А. Е. сидел как пень и что-то отыскивал в конспекте. Вы мне и давали вопросы и возражения, и поправляли, и выручали меня. Но о. ректор заметил, что я не твердо читаю, и спросил А. Е.: есть ли у меня память. При всем том, что я был в довольно неприятном положении, не мог я не улыбнуться, когда А. Е. вдруг встал, вытаращил глаза на ректора, потом на меня, заикнулся и высунул язык.... Так он и простоял, да промычал что-то; вы же заметили, что у меня более развит рассудок. Не знаю, хотели ли вы только выручить меня, или в самом деле подметили во мне эту черту, но только вы сказали правду; и я в ту же самую минуту пожелал только, чтоб ваши слова были искренни. В этот же день вы еще раз показали свою внимательность ко мне, когда меня спросили из латинского языка. Из нашего отделения меня вызвали первого, а между тем ректор хотел продолжать то же, что переводили ученики первого отделения. Я не мог найти места, о. ректор рассердился и хотел отослать меня не спросивши; А. Е. забился куда-то в угол; к счастью, вы были тут: тотчас дали вы мне в руки свою книгу, указали место, и я стал переводить вместе с вами. За этот раз я благодарен был вам чуть ли не больше, чем за первый: там не так досадно было срезаться, потому что уроков я действительно не учил; но не ответить из латинского языка, при хорошем знании его, было бы уже особенно досадно. Несмотря на ваше заступление, я был очень недоволен этим экзаменом и особенно сокрушался о том, что вы будете уже нехорошего мнения о моих познаниях.... Но и эта мысль на другой же день была почти совсем уничтожена вами: вы так снисходительно отозвались о моем ответе, так хорошо успели оправдать меня, что я совершенно успокоился на этот счет....

Не удалось мне проводить вас в июле месяце на родину.... Через несколько минут после вашего отъезда вошел я в вашу опустелую квартиру, пожалел, что не застал уже вас, поговорил о вас с подлекарем Соколовым, от всего сердца пожелал вам мысленно счастливого пути и благополучного возвращения и грустно пошел домой, раздумывая, что лучше было бы, если бы вы здесь остались.... Да, лучше было бы!... Лучше, — может быть, вы и сами с этим согласитесь....»

Теперь, милостивые государи, называвшие нашего друга человеком без души и сердца, — теперь честь имею обратиться к

вам, и от имени моего, от имени каждого прочитавшего эти страницы, в том числе и от вашего собственного имени, — да, и вы сами повторяете себе то, что я говорю вам, — теперь имею честь назвать вас тупоумными глупцами. Вызываю вас явиться, дрянные пошляки, — поддерживайте же ваше прежнее мнение, вызываю вас...

Вы смущены? Вижу, вижу, как вы пятитесь.

Помните же, милые мои, что напечатать имена ваши в моей воле и что с трудом удерживаю я себя от этого<sup>30</sup>.

Продолжается дневник Николая Александровича:

«24 января 1853 года.

Сегодня минуло мне 17 лет, и потому я хочу написать что-нибудь в моих записках, или *mémoires*\*, как я называл их год тому назад. Не знаю, что мне писать здесь, но, по обыкновению моему, думаю заняться рассмотрением прошедшего года в отношении ко мне. Но для этого надобно подумать, а я ничего не помышлял об этом до сего часа... Начну с этих записок. Хоть передо мной и нет теперь первых листов их за прошлый год, но я помню ясно, что в тот год я хуже писал: нынче у меня рука тверже, и как-то размашистее пишу я. Во-вторых, я припоминаю, что в начале прошлого года я записал спор свой и поражение В. С. \*\*; теперь я иначе смотрю на это, и мне стыдно, что обратил внимание на подобную мелочь. Нынче подобных вещей со мной было уже с десятков, но я не внесу их сюда. Вот другое приобретение, довольно важное. Потом, тогда я все собирался ехать в университет и между тем ничего не делал; нынче мои предположения определеннее, и я готовлюсь их выполнить. Тогда мне представлялось, что в университете лучше учиться, чем в академии. Но я считал тогда совершенно излишним думать о том, что будет по окончании курса; теперь я подумал об этом и нашел, что разница между тем и другим самая малая, а между тем сберегается в 4 года около 1 000 р. сер. — вещь немаловажная. Кроме того, заметно даже мне самому (впрочем, это не диво: я люблю наблюдать за собой), что я сделался гораздо серьезнее, положительнее, чем прежде. Бывало, я хотел все исчислить, все понять и узнать; науки казались мне лучше всего, и моей страстью к книгам я хотел доказывать — для себя самого — бескорыстное служение и природное призвание к науке. Ныне я в своих мечтах не забываю и деньги, и, рассчитывая на славу, рассчитываю вместе и на барыши, хотя еще не могу отказаться от плана — употребить их опять-таки для приобретения новой славы.

\* Воспоминания, записки. — *Ред.*

\*\* Этот спор действительно записан был по 9 января 1852 г., на стр. 16 дневника, но он неинтересен и потому мы его не напечатали.

Страсть мою к книгам я не называю нынче влечением к науке, а настоящим ее именем, и вижу в ней только признак того, что я большой библиофил, потому что я люблю книги, какого бы рода они ни были, и сгораю желанием, увидя книгу, не узнать то, что в ней написано, но только узнать, что это за книга, какова и проч. Самому чтению какой бы то ни было книги я большею частью предаюсь только для удовольствия сказать себе: я читал то и то; эта, и другая, и третья, и десятая книга мне известны.. Поэтому-то я так люблю ныне читать журналы и преимущественно отдел библиографии и журнальные заметки. Недавно присоединилось сюда и другое побуждение: я читаю иное для того, что это пригодится на приемном экзамене. Далее пока я не простираюсь. Литературные цели мои достигаются пока только записыванием, списыванием и писанием. Кстати замечу, что в декабре прошлого года послал я 12 стихотворений своих в редакцию «Сына отечества»<sup>31</sup>, приняв поэтическое имя Владимира Ленского. Нынче я уже не объявлял никаких требований, — не то что в ноябре 1850 г., когда я просил от редакции «Москвитянина» 100 рублей, обещая прислать 40 плохих стихотворений. Это давно лежит у меня на совести; и если когда-нибудь выведут меня на чистую воду, то я не знаю, что еще может быть для меня стыднее этого?.. Писал я также три статейки для Нижегородских ведомостей<sup>32</sup>; но одну цензор не пропустил, — невиннейшую статью — о погоде; другие две, кажется, сгинули у редактора, по крайней мере я доселе остаюсь для них, т. е. они для меня остаются, во мраке неизвестности. Но это все пока вздор; гораздо важнее для меня приобретение некоторых положительных познаний, кой-какой навык — малый — в немецком языке и большая установленность или твердость взгляда и убеждений. В начале прошлого года я как-то все сбивался: хотел походить на Печорина и Тамирина, хотел толковать, как Чацкий, а между тем представлялся каким-то Вихляевым и особенно похож был на Шамилова<sup>33</sup>. Изображение этого человека глубоко укололо мое самолюбие, я устыдился и если не тотчас принялся за дело, то по крайней мере сознал потребность труда, перестал заноситься в высшие сферы и мало-помалу исправляюсь теперь. Конечно, много здесь подействовало на меня и время, но не могу не сознать, что и чтение «Богатого жениха» также способствовало этому. Оно пробудило и определило для меня давно спавшую во мне и смутно понимаемую мною мысль о необходимости труда и показало все безобразие, пустоту и несчастье Шамиловых. Я от души поблагодарил Писемского. Кто знает, — может быть он помог мне, чтобы я со временем лучше мог поблагодарить его!?... Нужно заметить еще одно приятное приобретение: я освободился наконец от влияния В. Л—ого. Вообще, степень моего уважения и расположения к этому человеку я измеряю мои нравственные и умственные успехи. Было время,

я как-то боялся его: замечал каждое его слово, которое могло иметь отношение ко мне, не смел противоречить его мнениям, любил выставлять себя перед ним с хорошей стороны и пр. Ныне я уже не имею к нему столько уважения, не смеюсь его островам, свободно могу высказывать при нем свое мнение, не боюсь показывать ему свои сочинения, говорить с ним о том, что я делаю, смеяться над тем, чем он восхищается, и уважать то, над чем он смеется. Только еще, как памятник давно прошедшего, осталось во мне желание говорить с ним о моей душевной жизни и удовольствие — пересказывать ему все, что встретится мне смешного. Но надеюсь скоро избавиться и от этого. Чудное дело, как подумать, что значит школьный товарищ. Не сойдишь бы я с ним, — я уверен, что мое развитие пошло бы совершенно иначе. Я-то на него, конечно, не имел влияния; но он на меня — довольно значительное. Не могу еще решить, хорошо или худо было это влияние, но оно состояло вот в чем: он научил меня, по природе серьезного, смеяться над всем, что только попадется на глаза; он заставил меня, человека довольно основательного и медленного, смотреть на предметы поверхностно, произносить о них суждение, посмотревши только форму и не касаясь содержания; из ума моего он сделал остроумие, из презрения ко многому — насмешку над этим многим, из внимательности — находчивость. Быть может, это мне и пригодится; но теперь это дурно, не говоря уже о том, что от этого страждет теперь мое необъятное самолюбие. Но довольно о нем; обращусь к другому человеку, другому знакомому прошлого года, который успел оставить во мне самое чистое, самое сладостное воспоминание. Это — Иван Максимыч!... Я уже писал здесь о моей к нему привязанности. Теперь могу только прибавить, что она не уничтожается с течением времени, как я опасался, а продолжается все так же, как и прежде. Даже теперь я как будто все более и более начинаю понимать его, как будто в отдалении он представляется мне в большем свете, и я лучше могу рассмотреть превосходные черты великой души его. Положа руку на сердце, говорю, что я не знаю никого лучше Ивана Максимыча, без всяких исключений. Великость моей к нему привязанности я могу выразить вот чем. От природы добрый, но нестерпимо гордый, я не отвечаю обыкновенно на оскорбления (разумеется, действительное оскорбление, а не на шутку какую-нибудь или неосторожное слово); но мое молчание продолжается очень надолго, если не навсегда. Точно так же, если я замечу, что меня принимают слишком сухо и презрительно, — я перестаю туда ходить и после того не внимаю уже первому зову. Это у меня случается даже с родными. Но в отношении к Ивану Максимычу я чувствую совершенно не то. Я смело говорю, что если б он меня обидел, — если б случилось такое несчастье, — то я заплакал бы от досады на себя, наделал бы кучу неприят-

ностей другим, но ничего худого не подумал бы об Иване Максимиыче. Напротив, я постарался бы заслужить от него прощение в том, что мог заслужить от него упрек, мог довести его до оскорбления, — его, который так великодушен, так высокоблагороден. Если бы он не захотел принимать меня, то я, отложив гордость в сторону, пришел бы к нему со слезами умолять его, чтобы он позволил мне снова наслаждаться его беседой... Многие не поймут в этом ничего; но человек, имеющий в себе гордость, поймет из этого всю великость моей привязанности. А что я не лгу — свидетель в этом совесть моя. Что я не обманываюсь — свидетель мой рассудок, который, кажется, довольно уже окреп и довольно ясно различает ложь от истины, по крайней мере в своей душе. Я хотел еще записать кое-что; но это воспоминание так хорошо, этот предмет так прекрасен для меня, что на нем хочу я окончить нынешний день, с желанием, чтоб и ночью посетило меня во сне мое прелестное видение, мой идеал — в образе Ив. Максимиыча».

*«15 марта 1853 года.*

Свершились желания. Давно задуманное и жданное исполнено! Что же я так равнодушен, что же так холодно принял известие об окончании моего дела? Или я привык уже к этой мысли, или сомнение, все еще тревожащее меня, препятствует мне радоваться вполне? Или я даже разочаровался?... Не знаю; я еще не разберу хорошенько своих чувств и мыслей касательно этого предмета. Верно только то, что чувств, мне кажется, совсем нет, а мыслей, непосредственно сюда относящихся, также немного.... Однако замечу здесь все, что нужно, и расскажу историю моего дела.

Август и сентябрь прошлого года были бурны для моей душевной жизни. Во мне происходила борьба, тем более тяжелая, что ни один человек не знал о ней во всей ее силе. Конечно, я не проводил ночей без сна, не проливал ведрами слез, не стонал и не жаловался, даже не молился, потому что подобные выходки не в моем характере, а молиться — сердце мое черство и холодно к религии, а я тогда даже и не заботился согреть его теплотой молитвы. Это самое, вероятно, делало еще тяжелее борьбу мою. Я совершенно опустился, ничего не делал, не писал, мало даже читал.... Что-то такое тяготило меня и, указывая на всю суету мирскую, говорило: к чему? Что тебя здесь ожидает? Тебе суждено пройти незамеченным в твоей жизни, и при первой попытке выдвинуться из толпы обстоятельства, как ничтожного червя, раздавят тебя.... И ничего ты не сделаешь, ничего не можешь ты сделать, несмотря на всю твою самонадеянность, и припоминался мне желчный стих Лермонтова:

Не верь, не верь себе, мечтатель молодой!..<sup>34</sup>

А между тем все дело было очень просто, причины такого состояния очень нехитрые — мне непременно хотелось поступить в университет. Папенька не хотел этого, потому что при его средствах это было невозможно. Но он не говорил мне этого и представлял только невыгоды университетского воспитания и превосходство академического. Тогда этого рода доказательствами меня невозможно было убедить: я был непоколебимо уверен, что если могу где-нибудь учиться в высшем заведении, то это только в университете. Но между тем я видел ясно, что для моего отца действительно очень трудно, почти невозможно было содержать меня в университете. Конечно, будь я порешительнее, я бы объявил, что хочу этого и что проживу там на 50 целковых в год, только бы учиться в университете. Но я не хотел и не мог этого; решительного объяснения не было, а во мне кровь кипела, воображение работало, рассудок едва сдерживал порывы страсти. Счастье или несчастье мое, что у меня нет крепкой воли!... А то бы наделал я дела. Теперь же случилось так, что, по пословице — «Сила есть, да воли нет», — и все дело окончилось тем, что я раза три поговорил с родными, так грустно и жалобно, с таким отчаянным видом, — который однакож никого не тронул, — походил несколько времени, повеся нос, помурлыкал про себя Кольцова:

Долго ль буду я  
 Сиднем дома жить?...<sup>35</sup>

да

Путь широкий давно...<sup>36</sup>

да из Лермонтова:

Не верь себе...

и

В минуту жизни трудную...<sup>37</sup>

да еще из Баратынского:

Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти...<sup>38</sup>

Жутко было мне тогда; но наконец папенька сказал, что мое желание выполнить невозможно, что тысячу рублей ассигнациями в год он мне определить не может, а меньше нельзя. Больше он слушать ничего не хотел, как ни уверял я его, что половины этой суммы для меня слишком достаточно. И как только сказали, что этого нельзя, я успокоился, потому что добиваться невозможного я никогда не стараюсь. И стихи Гёте:

Невозможное возможно  
 Человеку одному..

не для меня писаны.

Но при всем том, я не мог помириться с мыслью — остаться еще на два года в семинарии, где ученье было очень незavidное. Благородный отзыв Ивана Максимовича о петербургской академии решил дело: ему первому сообщил я мысль отправиться туда;

он сказал: «Хорошо», и его одобрение было для меня очень довольно, чтоб начать дело. На это дело папенька согласился легче; не было возражений о трудности учиться, ни о возможности поступить туда; сказано было только несколько слов о моей молодости, но я представил, что молодому еще легче учиться, и дело было слажено. До отъезда еще Ивана Максимовича я мог уже (в начале ноября) сообщить ему, что я решился непременно ехать в петербургскую академию. Превосходный этот человек с участием принял мои слова, дал несколько советов и даже проговорил прошение, которое я должен был подать графу Протасову, так что я написал теперь прошение почти с его слов. В декабре начал приставать уже к папеньке, чтобы сходил к нашему о. ректору и спросился его. Но в декабре не собрались, а в январе начали уже возникать сомнения насчет выгод и пользы учения в петербургской академии. Думали и сомневались, решались и передумывали, ходили к ректору, не заставляли его дома и опять раздумывали целый месяц. Наконец 3 февраля папенька сходил к ректору, тот одобрил и мое желание, и меня самого. В этот же вечер написал я просьбу к графу Протасову, обер-прокурору святейшего синода; но долго еще лежала она без употребления; наконец получил я приказание переписать ее, и 18 февраля папенька снова ходил к о. ректору, показал просьбу, и ректор несколько поправил ее. 19 февраля папенька пошел к архиерею и просил также его благословения на это дело. Преосвященный Иеремия принял даже участие в этом деле и приказал принести к нему просьбу, обещаясь послать ее от себя. 24 февраля папенька принес к преосвященному мое прошение, он посмотрел и сказал: «Хорошо; подавайте». Папенька удивился такому обороту дела и сказал: «Ваше преосвященство! эта просьба написана на имя графа; не прикажете ли переменить и написать на ваше имя?» Тогда преосвященный еще посмотрел прошение и сказал, что «если уж так, то нужно подать просьбу еще на мое имя. Вы уже подайте от своего имени». 26 числа, в четверток, на маслянице, папенька подал преосвященному просьбу к нему о моем желании, приложив и мое прошение к обер-прокурору. В это время был у преосвященного и отец ректор семинарии, они поговорили между собой, и преосвященный сказал моему отцу: «Ваше желание будет исполнено». 27 числа, на другой день, архиерей сдал мое дело в семинарское правление с резолюцией: «Представить мне семинарского правления справку о его поведении и успехах обстоятельную». На первой неделе делами преосвященный не занимался, и потому эта справка, состоящая из моего аттестата, подана была ему уже 9 марта. 10 он сдал все дело в консисторию, чтобы там некто Городков заготовил от него письмо обо мне к графу. В этот же день вечером моя просьба была еще раз переписана, потому что нашлась в ней ошибка и каплюшка салом. 11 марта черновое письмо подано к преосвященному, и он,

исправив его, снова дал в консисторию переписать. 12 марта переписали и подали ему, 13-го отослали с отходящей почтой в С.-Петербург. Вот моя история, не длинная и не важная. По окончании дела мне бы следовало радоваться, а я очень равнодушен. Правду сказать, я и теперь еще не уверен в превосходстве академического образования, и мысль поступить в университет не оставляет меня. Впрочем это по обстоятельствам. Главным образом соблазняет меня авторство, и если мне хочется в Петербург, то не по желанию видеть Северную Пальмиру, не по расчетам на превосходство столичного образования: это все на втором плане, это только средство. На первом же плане стоит удобство сообщения с журналистами и литераторами. Прежде я безотчетно увлекался этой мыслью, а теперь уже начинаю подумывать, что:

То кровь кипит, то сил избыток...<sup>39</sup>

Надежда на журналистов для меня очень плоха, потому что, не доучившись год в семинарии, я в академии должен буду заниматься очень сильно, и времени праздного у меня не будет, и притом я не знаю новых языков, — следовательно, переводное дело уже не по моей части, а иначе как начать?... Подумаешь, подумаешь, пишешь стихотворение:

Мучат сомнения душу тревожную...<sup>40</sup>

и потом опять какая-то апатия нападает на душу, как будто это до меня и не касается. Одна надежда на премудрый промысл поддерживает меня. С тех пор как благодетельная уверенность в благости и неусыпной заботливости о нас божией посетила меня, мне кажется, что я даже несравненно легче снесу, если меня и прогонят назад в Нижний из академии. Этого я также имею причины опасаться, хотя и не теряю надежды сдать хоть кое-как приемный экзамен. Много теперь нужно мне трудиться, необычайная энергия требуется, чтобы поддержать себя, а между тем я как будто и не думаю об этом, и едва-едва, потихоньку, принимаюсь готовиться. А тут еще классные уроки, задачи и пуще всего надоедающие классы, особенно о. П., драгоценного моего инспектора и бесценного преподавателя догматического богословия, с присловьями Цицерона и Квинтилиана<sup>41</sup>, с анекдотами Суворова и Балакирева<sup>42</sup> с допотопными понятиями о науке и литературе и при всем этом с совершенным отсутствием здравого смысла, с пустейшей головой, с отвратительной претензией на подлое (плебейское) остроумие и наконец с положительной бездарностью преподавания!... Скоро ли то я избавлюсь от этого педанта, глупца из глупцов?... А что, ежели придется воротиться к нему?...»

Этими словами кончается последняя страница мемуаров, начатых 1 января 1852 года.

О поступлении Н. А. в Педагогический институт и об институтской его жизни прислал в редакцию «Современника» следующую статью г. Радонежский<sup>43</sup>, бывший товарищем Николая Александровича:

«В августе 1853 года, за Обводным каналом в Петербурге, против здания духовной академии, в бедном трехоконном домике служителя Александро-Невской лавры, встретил я в первый раз Николая Александровича на его квартире, как теперь помню, с историею Смарагова<sup>44</sup> в руках. Как он, так и я, и много других семинаристов только что приехали в Петербург, с целью поступить в духовную академию....

В то время, о котором я говорю, в квартире Добролюбова было человек пять таких кандидатов на академиком.... Семинаристы во всей неприкосновенности.... в столице.... пред решительными днями вступительных экзаменов, имевших решить наше: «быть или не быть» — поддержать или уронить пред академическим трибуналом честь своих семинарий, в лице нашем пославших, каждая из своего рассадника, по одному лучшему экземпляру из своих развитых растений, на окончательную пробу, — все мы, еще незнакомые между собою, собранные воедино волею начальства, робко выражали друг другу свои надежды и опасения, говорили о том, когда какой экзамен, по какому предмету, строг ли тот или другой экзаминатор, и в то же время каждый из нас читал пытливый взгляд на лицах товарищей-соперников степень ума, развития, подготовленности, жадно вслушиваясь в каждое слово другого.... Что до меня, — я с первого взгляда на свежее, молодое (Добролюбову в то время было семнадцать лет), слегка румяное лицо Николая Александровича, на очки, придававшие его умной, строгой физиономии какую-то оригинальную смелость, отличил его от прочих.... Особенно мне бросились в глаза очки на носу семинариста, по моему тогдашнему убеждению так дерзко нарушавшие законы скромной семинарской, а тем более академической моды, — законы, по духу которых ношение очков, пальто, сюртуков и панталонов, сшитых не по казенной мерке семинарской, означало либерализм, заподозривало в тенденциях светских\*, далеко не согласных с идеалом истинного воспитанника семинарии и тем более воспитанника, избранного быть впоследствии, по выходе из академии, наставником духовного юношества....

Впечатление на первый раз Добролюбов произвел на меня особенное, нежели все другие, виденные также в первый раз, будущие мои товарищи: «Какая умненькая физиономия! недаром очки носит (не знаю, почему очки это доказывали)... еще такой

\* «Эти наружные тенденции были причиною непоступления многих в число академических студентов в наше время...» — Л. Р.

молоденькой... Ужели и он в академию?...» — размышлял я. И мне тотчас же захотелось познакомиться с очками...

— Вы из какой семинарии?

— Из нижегородской...

— Ваша фамилия — позволите?

— Добролюбов.

— Надеюсь, также в академию? — пытал я.

— Да... — отвечал мне как-то неохотно Добролюбов. Потом он повернулся к окну, взглянул за канал на фасад академического здания, как раз против окон его квартиры. «Смотрите, — прибавил он, обращаясь ко мне с мало скрытою ирониею и указывая глазами на академию, — в академии *тринадцать окон*, это что-то плохой знак... Я едва ли буду держать экзамен там... Боюсь...»

И действительно, Добролюбов экзамена в академии не держал. Он мог это сделать, потому что приехал на свой счет и потому жил на своей квартире. Я и многие другие, присланные на казенный счет и потому жившие уже в академии, должны были сдавать страшные экзамены.... В то время, когда мы держали экзамены, в академии пронесся слух, что нижегородский студент (претенденты на академиком звались уже тогда студентами) держит отлично экзамен в Педагогическом институте. Через несколько времени и сам Добролюбов зашел в академию к нам, уже испытывавшим неудобства затворнической жизни (прежде чем мы получили права ее адептов), и объявил, что он удачно кончил свои экзамены в институте... Я вместе с другими, не обольщенными прелестями предстоявшей нам жизни и карьеры, помню, от души позавидовали счастью Добролюбова....

Наконец и наши экзамены в академии кончились. Перекликаны были имена избранных, потом имена только званых. В числе, кажется, пятнадцати имен последних я скоро услышал и свое....

Тогда же четверо из нас, «попеченных назад академиком», как тогда мы себя и нас называли другие, отправились на квартиру к Добролюбову....

— И прекрасно, господа, — поступайте в институт, — утешал нас Добролюбов. — И там не сладко, но по крайней мере не будем сидеть за 13 окнами...

В тот же день мы, оскорбленные и униженные, поехали искать счастья в институт...

Нас там, сравнительно с строгим академическим приемом, очень вежливо и ласково встретил бывший тогда инспектор института А. Н. Тихомандритский <sup>45</sup>, поговорил с каждым из нас, дал нам необходимые инструкции, как приступить к *новому*, еще более решительному экзамену.... На другой день мы экзаменовались в институте, а через несколько времени нам было объявлено, что мы приняты — мы спасены....

Горькие, отчаянные чувства убитости, унижения, испытанные многими очень незаслуженно от своей alma mater\* — академии духовной, в нас быстро исчезли перед восторгом от сознания восстановленного самолюбия судом светским, — судом людей, которые в глазах наших стояли много выше, по своему образованию, наших прежних экзаминаторов. О радость! мы — студенты института — мы, отверженные, неизвестно за что, нашу мать! \*\*

Правда, много горя мы испытали и в институте; но что это горе в сравнении с тем, что нас ожидало, если бы мы вернулись опять в семинарию?!...

Вскоре по приеме в институт, студентов, вновь принятых, разместили по камерам. Нас, «попеченных академиков», как тогда нас называли другие студенты, записавшихся на один филологический факультет, поместили всех в одну камеру, где к великому моему удовольствию я прочел в списке студентов этой камеры, повешенном на стене, и имя Н. Добролюбова, подчеркнутое рукою директора. А против фамилии Добролюбова написано: «Старший» — тою же рукою. Старшим Добролюбова у нас сделали потому, что он отлично держал экзамен по всем предметам, исключая математики, и физики, и французского языка. С французским языком Добролюбов уже познакомился в институте на втором году совершенно основательно по роману: *Mystères de Paris* <sup>46</sup>. Целых два месяца, не выпуская из рук, носился он с «Парижскими тайнами» и наконец-таки одолел многотомный роман.

С первого дня нашей институтской жизни и до последнего я в камере сидел рядом за одним столом с Николаем Александрычем. Мне было интересно следить за ходом занятий его, скоро приобретшего над своими товарищами большое влияние.... Скоро все товарищи Добролюбова убедились в его превосходстве над собою. Как у словесников, у нас часто заходили споры о литературе. В этих спорах скоро Добролюбов показал и свою начитанность, какую было трудно представить в семинаристе, и силу горячего убеждения, и недоверчивость к словам с кафедры.... Все это дало нам возможность заметить в Добролюбове раннюю самостоятельность. Помню, все мы как-то неохотно приступали к славянской филологии.... Добролюбов с первой же лекции И. И. Срезневского <sup>47</sup> полюбил и предмет и профессора. Профессор впоследствии сам горячо полюбил своего слушателя и, не в пример прочим, иногда звал его на лекции по имени и отчеству \*\*\*.

\* Матери-кормилицы. — Ред.

\*\* «В академии баллов, полученных нами на присном экзамене, не читали, и нам доселе неизвестно, почему так решили нашу судьбу». — Л. Р.

\*\*\* В институтском дневнике Н. А. есть много теплых слов о г. Срезневском, у которого был он принят, как домашний, в последнее время институтского курса. — Н. Ч.

Добролюбов владел особенным искусством на лету схватывать мысль профессора, и записывал так, что записки его по всем предметам в продолжение всего курса служили источником, откуда каждый студент, обязанный поочередно составлять лекции профессору, брал все необходимое. Через год Добролюбов дошел до такого умения записывать профессорские лекции, что, не опуская в них ничего существенно важного, успевал еще пародировать иную лекцию. Эти пародии иногда со смехом читались в аудиториях и дортуарах....

Если не все любили Добролюбова, не все соглашались с ним, то положительно говорю — все его уважали. Смело можно сказать: все мы, его товарищи, обязаны многим и многим Николаю Александрычу, как студенту, откликавшемуся на все, за всем современным следившему. Большая часть из нас у него искали разъяснения на многие вопросы, с которыми не могли сами совладеть. Много было резкого в его приговорах; но эти убеждения его были свои, — этот пыл, эта искренняя откровенность были всегдашней, неизменною принадлежностью благородной натуры незабвенного Добролюбова, горячо оскорблявшегося всем, что, по его убеждению, не было добро и правда....

Как-то вечером, часов в десять после ужина, сидели мы в своей камере за столом: Добролюбов, я и еще три студента. Добролюбов читал что-то, сдвинувши на лоб очки. Является от знакомых один студент, некто N, считавший себя аристократом между нами, голышами, как помещик.... N стал рассказывать одному студенту новость: будто бы носятся слухи об освобождении крестьян (это было в начале 1857 года). Передавая этот слух, N выразил оттенок неудовольствия, как помещик.... Добролюбов, не переставая читать, доселе довольно покойно слушал рассказ N. Но когда N сказал, что подобная реформа еще не довольно современна для России, и что интерес его личный, интерес помещичий, через это пострадает, — Добролюбов побледнел, вскочил с своего места и неистовым голосом, какого я никогда не слыхал от него, умевшего владеть собою, закричал: «Господа, гоните этого подлеца вон! Вон, бездельник! Вон, бесчестье нашей камеры!...» И выражениям страсти своей и гнева Добролюбов дал полную волю....

Добролюбов, при отличных способностях, владел каким-то особенным тактом в занятиях. Довольствуясь записыванием лекций в аудитории, он никогда не терял времени на «черную» работу, т. е. на переписку, на составление лекций, на репетиции, как большая часть студентов. Он читал, читал всегда и везде, по временам внося содержание прочитанного (хотя он и без того хорошо помнил) в имевшуюся у него толстую, в алфавитном порядке писателей, библиографическую тетрадь. В столе у него было столько разного рода заметок, редких рукописей, тетрадей, корректур, держа которые в первое время он зарабатывал себе

копейку; в шкапе столько книг, что и ящик в столе и полки в шкапе ломились.... Но что бы Добролюбов ни делал, каким бы серьезным и срочным трудом ни занимался, всегда он с удовольствием оставлял занятие для живого разговора, откровенной беседы, которые при его участии, начинаясь литературою или профессорскими лекциями, всегда сводились на вопросы житейские.... Он еще и тогда относился к этим последним слишком строго для 17-летнего юноши.... Направление таланта Добролюбова, впоследствии так ярко обнаруженное им в напечатанных статьях, проявлялось еще очень рано.

Если не ошибаюсь, в феврале 1855 года я отправился в лазарет. В лазарете я нашел Добролюбова здоровым. Он по вечерам там что-то писал и записывался иногда далеко за полночь. Я любопытствовал спросить: «Что ты пишешь, Николай?» — «А вот слушай». И он мне прочел отрывок из предполагаемого романа. Отрывок этот составлял первые главы. В них, помню, дело шло о воспитании двух мальчиков. Один из них был аристократенок — маменькин сынок, другой — приемыш — соединенный брат, служивший компаньоном барчонку.... Мне особенно памяты те страницы, где автор говорил о деспотических отношениях первого к последнему, — и сцена, где мальчик приемыш-сирота однажды отдал встреченной им на улице девушке-нищей, босой, с окровавленными ногами, свои сапоги, за что барыня-мать больно высекла своего приемного сына.... Я долго слушал этот рассказ, полный горячего сочувствия к сироте и читанный Добролюбовым с большим одушевлением.... На глазах у меня навернулись слезы.... Потом эти мальчики были отданы в одно заведение учебное, вместе учились, кончили курс удачно. Барчонка жил и учился с протекцией.... Сирота — сам собою, без помощи, всегда в борьбе с нуждою и людьми, под влиянием чего характер последнего выработался симпатичный, твердый, самостоятельный. Чтение, помню, кончено было (тут же был и конец рукописи будущего большого романа) на том месте, когда эти два героя начинают служебную карьеру, как и следовало ожидать, различными путями. Маменькин сынок поступает под крыло какого-то директора департамента, а сирота сам где-то находит для себя место.... Заглавия этого романа мне тогда Добролюбов не сказал, вероятно, и сам еще не знал, как его назвать; но заметил мне, что пишется легко, что вовсе не такой труд, как он прежде думал, писать повести.... Кажется, этой повести или романа покойный Добролюбов так и не кончил.

Когда Добролюбов кончил чтение, я спросил: «Ужели ты, Николай, способен писать романы? Я считал тебя более серьезным...»

«Недаром у меня ничего и не выходит. «Воображения» у меня вовсе нет. Я, замечаешь, резонерствую, а это скверно... Впрочем, покажу Чернышевскому, что он скажет», — отвечал мне Добролюбов.

На той же неделе он отправился, кажется, с неоконченною повестью, к Чернышевскому. После того он мне передал результат литературного консилиума. «Чернышевский мне положительно сказал, чтобы я не совался в беллетристику, что я пишу не повесть, а критику на сцены, мною придуманные...» Это слова буквально-подлинные Добролюбова.

Сейчас приведенный факт очень важен в жизни Добролюбова как решительный толчок, давший литературному призванию его окончательное направление — критическое...

Первые два года пребывания в институте у Добролюбова были отравлены двойным ужасным горем. Из частой переписки его в то время с родными, и особенно с матерью, видно было, что он питал к ней нежнейшую привязанность. Родители, в свою очередь, до страсти любили своего первого сына и баловали его, как ребенка. Часто, бывало, Добролюбов получал с почты присылаемые из дому, из Нижнего-Новгорода, конфеты от матери, которыми он после ужина угощал своих товарищей. Однажды вечером Добролюбов получает от отца письмо за черною печатью, извещавшее о смерти любимой им матери, которая скончалась от родов. Это ужасное известие так сильно подействовало на Добролюбова, что все товарищи приняли участие в его горе, и, кажется, этот удар много имел влияния на самые заветные убеждения дорогого нашего товарища....

— За что так строга судьба? — сказал он мне однажды, перечитывая печальное письмо. — Матушка моя была так религиозна.... так набожна.... и так необходима малолетней семье нашей.... Зачем было отнимать ее у нас?... Поневоле задумаешься....

Не успела еще зажить, да едва ли и зажила когда эта рана в сердце Добролюбова, как новая, не менее глубокая, нанесена была судьбою его любящему сердцу.

В 1854 году, в июне месяце, после экзаменов, мы втроем отправились на каникулы по железной дороге «вместе с волами», как выразился Добролюбов, — т. е. на тяжелом поезде, до Твери. В Твери мы сели на пароход, с тем чтобы отправиться по Волге: я — в Ярославль, еще товарищ — в Кострому, а Добролюбов — в Нижний. Всю дорогу наш Николай Александрович был как-то особенно печален. К тому же он поместился на палубе, и его буквально испекло жарким июньским солнцем. На пароходе с нами ехали два болгарских монаха; он с ними всю дорогу проговорил о болгарском языке, о жизни болгар.... Оттого ли, что у Добролюбова не было денег, или он не хотел их тратить, или ему наскучила дорога, или не был хорошо здоров, или его томило недоброе предчувствие — не знаю; но он всю дорогу грустил, ничего почти не ел и не пил в продолжение двух суток.... Последствия оправдали его чуткую грусть: дома на этих каникулах посетило его семью новое горе.

В конце августа, на обратном пути из дома в Петербург,

я встретил Добролюбова на железной дороге, уже ехавшего на этот раз с каким-то баринoм-земляком во II классе.

— Что нового у вас, Николай, в Нижнем?

— Отец умер, — отвечал он.

В холодном тоне ответа, сказанного Добролюбовым с язвительной улыбкою, мне послышалось проклятие, посланное судьбе.... Да, он смеялся, сообщая мне эту грустную новость, но так смеялся, что меня покорило.

Эти грустные семейные обстоятельства, быстро следовавшие одно за другим, имели сильное влияние на Николая Александровича. С этой минуты его душа навсегда простилась с мечтами.... и жизнь, жизнь со всею ее реальностью стала предметом его изучения.

Я, помню, восхищался при покойном только что тогда напечатанным в «Современнике» «Пахарем» Григоровича<sup>48</sup>. Добролюбов с жаром принялся доказывать всю несостоятельность повести, с особенным напором указывая на идеализацию, с которою автор описал последние минуты умирающего пахаря....

Я любил стишки, иногда напевал романсы.... Однажды, в минуту певучего настроения, я запел в присутствии Добролюбова какой-то романс...

«Радонежский! перестанешь ли ты сердечные романсы распевать? Ужели ты не имеешь в запасе для пения чего-нибудь лучше? На вот, пой...» и Добролюбов сунул мне стихотворения Некрасова. «Оставь, пожалуйста, любовь и цветы, пой «жизнь» — или плачь: это одно и то же, — ну, свисти!..» Песня, иногда птая мною: «Не слышно шуму городского», особенно нравилась Добролюбову, и он, вообще не любивший пения, очень часто просил меня ее петь и всегда слушал с особенным вниманием.

Покойный Николай Александрович не любил мишуры нигде и ни в чем, не любил рисоваться и всегда ратовал против нарядного чересчур мундира, особенно ловкого поклона, заискивающего разговора, подобоострастного отношения к кому бы то ни было.... На танцклассе, куда он являлся в четыре года, может быть, пять раз, смешил танцмейстера своею неловкостью, и мудростей кадрили французского не постиг....

Во время коронации студентам института были присланы две ложки даровые в Александринском театре. Бросили жребий, кому из студентов ехать. Добролюбову и мне достались также места. Давали «Парашу-Сибирячку» и еще что-то. В одной из них играл покойный Максимов<sup>49</sup>. Во время действия за некоторые монологи вызывали Максимова после того, как он кончал свое явление. Максимов имел привычку выходить раскланиваться и, разумеется, своим выходом нарушал художественную иллюзию.... В то время, когда все хлопали являвшемуся на вызов Максиму, хотя, по ходу действия, явление его не следовало, Добролюбов вставал с своего места и, высунувшись из ложи,

кричал громко: «Невежа, лакей!» — шикал и свистал. (То же было с Добролюбовым, когда Максимов в другой раз при нем играл Чацкого.) И всегда потом, если заходила речь об Александринском театре, он ругал Максимова....

Добролюбов не скрывал никогда и ни к кому своей антипатии. В выражениях о нелюбимом лице, и всегда нелюбимом за что-нибудь особенно, по его убеждению, дурное, он не стеснялся ничем. Там, где дело шло о правде, об интересах студентов, — он первый брал на себя ответственность протеста, рискуя потерять многое для себя....

При выпуске Добролюбов не получил золотой медали....

Зато иная медаль, с изображением покойного нашего общего друга, осталась вычеканенною в сердце каждого товарища его.... Не знаю, что жизнь сделала с Добролюбовым после, вне института.... Но студенческое имя Николая Добролюбова для его товарищей, так его любивших, и прежде было, и долго будет самым светлым, задушевым, ободряющим, путеводным голосом.... Немалую долю в вынесенных из студенческой жизни добрых началах товарищи Николая Александровича заняли из его прекрасной, даровитой, любимой нами всеми до страсти благородной души. Не берусь решить, что потеряла литература в — *bove* <sup>50</sup>, но мы, товарищи по институту, с Николаем Александровичем Добролюбовым потеряли много смелых надежд, много светлых упований, потеряли красу и честь нашего молодого студенческого кружка, гордость и утешение нашего курса».

От времени институтской жизни Н. А. сохранилась тетрадь дневника, начатого 1 января и доведенного до 11 февраля 1857 г. На этот раз Н. А. записывал совершенно последовательно, не пропуская ни одного дня, и очень подробно: 42 дня занимают 88 страниц в 4-ю д. л., исписанных плотно, так что если бы напечатать весь дневник, он занял бы около 75 страниц; на внутренней стороне обертки тетради написано:

«Прошу всех, кому попадет в руки эта тетрадь, положить ее на место, не читая, потому что в ней записал я несколько тайн, не принадлежащих мне и частью даже угаданных мною».

По причине, указываемой этою надписью, бóльшая часть дневника должна пока остаться ненапечатанною, и только некоторые, немногие отрывки можно сообщить публике теперь.

Сцена с товарищем по случаю слуха об освобождении крестьян рассказана в дневнике Н. А. так:

«9 января. В теперешнем своем настроении я рад всякой живой душе, которой мог бы говорить о своих душевных тревогах.... Чувства мои рвутся наружу с страшной силой. И что, если я встречу сочувствие?... А между прочим, тревожное состояние души моей выразилось вчера очень оригинальным образом. Еще с утра, на лекции Срезневского, по поводу какого-то слова, со-

вершено ничтожного, у меня вдруг родился целый ряд идей о том, как можно бы и как хорошо бы уничтожить это неравенство состояний, делающее всех столь несчастными, или по крайней мере повернуть все вверх дном: авось потом как-нибудь лучше установится все. Этот странный порыв, конечно, скоро был успокоен холодным рассуждением, доказавшим, что подобное намерение глупо. Но все-таки в душе осталось чувство, что надо же делать, если делать, что нечего сидеть сложа руки. В таком настроении был я, когда получил следующее известие. В «Сенатских ведомостях» напечатан был указ, в котором говорилось что-то о крепостных<sup>51</sup>. Весть об этом распространилась по городу, и извозчики, дворники, мастера, вольные и т. п. толпами бросились в сенатскую лавку — покупать себе вольные.... Произошла давка, шум, смятение. Указы перестали продавать. К. ходил вчера в сенатскую лавку. Чиновник ответил на его вопрос об указе касательно крепостных: «Нет и не было....» Но тут же, в две минуты, которые К. пробыл в лавке и возле, человек 15 разного звания приходили спрашивать об этом указе, и всем тот же ответ. Говорят, что многие извозчики оставили своих хозяев, рассчитав, что теперь им оброку платить не нужно, и, следовательно, от себя работать можно, что гораздо выгоднее. С. встретил третьего дня вечером двух пьяных мужиков, из которых один говорил, что мы, дескать, вольные с нового года, а другой ему возразил: «Врешь, с первого числа». Это меня возбудило и настроило как-то напряженно. Вечером заговорили опять об этом указе, и Н<sup>52</sup>, думая состричь, самодовольно заметил, что для студентов эта новость не может быть интересной, потому что у них нет крестьян. У<sup>53</sup> стал, по обычаю, очень тупо остричь на этот счет, и я, видя, что дело, святое для меня, так пошло трактуется этими господами, я горячо заметил Н неприличие его выходки. Он хотел что-то отвечать и, по обычаю, заикнулся, и, стоя предо мной, только производил неприятное трещание горлом. Я сказал, что его острова обидна для всех, имеющих несчастье считать его своим товарищем, и что между нами много есть людей, которым интересы русского народа гораздо ближе к сердцу, нежели какой-нибудь чухонской свинье. Выговоривши это слово, я уже почувствовал, что сделал глупость, обративши внимание на слова пошлого мальчишки; но начало было сделано. Н сказал мне сам какую-то грубость, и я продолжал ругаться с ним, пока не заставил его замолчать грозным движением, которое можно было растолковать, как намерение прибить Н. Движение это было уже не искренно, а просто рассчитано. Через пять минут я совсем эту историю позабыл, увлекшись течением мыслей — в одной из статей первой книжки «Современника», которую стал читать, чтобы успокоиться».

Вот еще два отрывка, в которых высказывается суждение Николая Александровича о своем характере и отчасти опреде-

ляются его тогдашние убеждения и стремления. 12 января, рассказывая о восстановлении хороших отношений своих с одним из товарищей, с которым прежде был дружен, потом на некоторое время расходился, Н. А. говорит, что примирением с этим товарищем он доволен, но прежняя дружба между ними не восстановится, и продолжает:

«Каждая вещь, которую мы делаем, основывается, конечно, на эгоизме, — тем более такая вещь, как дружба. Приятно быть дружным с тем, кто нам сочувствует, кто может понимать нас, кто волнуется теми же интересами, как и мы. В этом случае мое самолюбие удовлетворяется, когда я нахожу одобрение моих мнений, уважение того, что я уважаю, и т. п. Но с Z\* у нас общего только честность стремлений, да и то немногих: в последних целях мы расходимся<sup>54</sup>. Я — отчаянный социалист, хоть сейчас готовый вступить в небогатое общество с равными правами и общим имуществом всех членов, а он признает неравенство прав и состояний даже в высшем идеале человечества.... Я полон какой-то безотчетной, беспечной любви к человечеству и уже привык давно думать, что всякую гадость люди делают *по глупости*, и, следовательно, нужно жалеть их, а не сердиться; противодействуя подросткам, я делаю это без гнева, без возмущения\*\*, а просто по сознанию надобности и обязанности дать щелчок дураку. Z, напротив, отличается страстностью действий, и потому они принимают у него всегда личный характер; все затеянное им начиналось с него и к нему непосредственно относилось; все затеянное мной касалось меня менее, чем всех других, потому что лично я никогда ничем не был обижен от нашего начальства.

....Я более люблю Поржницкого\*\*\*, которого 10 числа проводил в Казань<sup>55</sup>. Это — благородный человек, с энергическим, постоянным желанием добра и участием к бедным ближним; он ужасно много потерпел и приобрел энергию и опытность, каких мне, может быть, никогда не удастся приобрести. Страшно подумать, как мало во мне жизни, как мало страсти! Хорошо еще, что попал я на благородные, честные убеждения.... Отсутствием живого начала в моей натуре объясняю я и то, что разлука с Поржницким произвела на меня очень слабое впечатление, до того слабое, что на другой день я позабыл о ней и не вписал даже ее в свою тетрадь. А между тем мое уважение и любовь к этому человеку совершенно искренни, — и был горяч поцелуй наш прощальный, крепко было пожатие рук».

25 января, замечая у другого институтского товарища сходство с собою по характеру, Н. А. продолжает:

«Для него вопросы социальные — вопросы внутренние, стрем-

\* Имя товарища, о котором идет речь.

\*\* То есть надобно подразумевать: «душевного, а с хладнокровием».

\*\*\* Г. Поржницкий был тогда студентом медико-хирургической академии и должен был уехать в Казань по неудовольствию начальства...

ления души его, а никак не внешние, навязанные обстоятельства увлечения, как у большей части других из нам известных. Только у него натура ужасно слабая и способная к увлечениям, и я боюсь, что, попавши в дурной кружок, он легко распростится с своими убеждениями. Этого бояться даже за самого себя я имею основание; но как же не сознаться — хоть и себе самому, — что во мне (что ни говори Z) \* внутренних сил гораздо больше, презрение к людским авторитетам и к житейским выгодам гораздо сильнее и что к высшим вопросам, к последним решениям я подошел гораздо ближе, гораздо смелее взглянул им в лицо, нежели N? <sup>56</sup> Меня своротить с моей дороги ужасно трудно, тем более, что я до сих пор не тратил своих сил на серьезную внешнюю борьбу, и в случае нужды могу явиться смелым и свежим бойцом. Кроме того, у меня есть еще шанс: я уже успел себя очень хорошо поставить между людьми, которых уважение мне дорого. Если я сгибну, то они обо мне искренно пожалеют, и перед концом меня не будет мучить мысль, что вот были у меня силы, да не успел я их высказать и умираю безвестным, без шума и следа».

Тут мы видим, между прочим, повторение обычной укоризны Н. А. себе за холодность и бесчувственность. Но теперь читатель уже знает его натуру настолько, чтобы видеть совершенную неосновательность его недовольства собою с этой стороны. Он был человек чрезвычайно впечатлительный, страстный, и чувства его были очень порывисты, глубоки, пылки. Мне довольно часто попадались люди, мучающиеся мыслью, что в них недостает именно тех способностей или качеств, которые очень сильно развиты у них. Например, покойный И. И. Введенский <sup>57</sup> ужасно мучился тем, что у него слаба память. Но, кроме общих впечатлений моих, свидетельствовавших противное, я имел положительный случай видеть, что память у него чрезвычайно сильна: когда он готовился к магистерскому экзамену, он занялся при моем содействии славянскими наречиями, о которых не имел никакого понятия, и я видел замечательную быстроту и прочность, с какою врезывалось у него в памяти все, начиная от грамматических мелочей до тонкого подбора фактов для общих научных соображений. Точно так же находил довольно слабой свою память и Н. А., имевший изумительную память. Разумеется, мнимую слабостью своей памяти он не огорчался, потому что важность дела не в том, какова память. Но, подобно ему, большая часть встречавшихся мне людей замечательно твердого характера были мучимы недовольством собою за бесхарактерность. Переходя от ложного недовольства собою за мнимые недостатки хорошего к подобным примерам недовольства мнимым недостатком дурного, каждый читатель может припомнить, как много встречал он людей изво-

\* Имя товарища, о котором шла речь в предыдущем отрывке.

ротливого и фальшивого характера, недовольных собою за мнимый недостаток изворотливости. Только очень немногие негодяи считают себя негодяями; огромное большинство людей этого разряда приписывает все свои неудачи в жизни только недостатку подлости в своем характере. Эта иллюзия относительно собственных качеств объясняется очень просто. Человек, у которого есть сильная способность к чему-нибудь, имеет очень ясное представление о том, что такое значит сила этой способности; он очень живо и рельефно представляет себе идеал ее, а перед идеалом факт действительно неудовлетворителен; и вот он считает себя слабым именно в том, в чем гораздо сильнее других людей. Разумеется, такие люди только в этом последнем отношении ошибаются, — только в том, что прилагают к себе мерку отвлеченного совершенства, пренебрегая мерять себя беспристрастным сравнением с другими людьми по качеству, недостатком которого в себе сокрушаются. Если они умны, то нетрудно заставлять их сознаваться в этой ошибке, уличая в том, что качеством, за недостаток которого они порицают себя, они одарены сильнее, чем люди, признанные за богато одаренных тем же самым качеством. Так, бывало, делаешь с Н. А., когда он начнет слишком печалиться своею «бесчувственностью» или «бесхарактерностью»: «Ну, вот возьмите г. N или г. NN — они известны как люди впечатлительные, живые» или «как люди твердые; ну, что же, как вы думаете об ваших качествах сравнительно с ними?» — «Еще бы сравнительно с ними не казался я вам человеком живым и твердым. Разумеется, я потверже их, и чувства у меня сильнее». — «Ну, за что же вы браните себя в таком случае?» — «Да какое мне утешение в том, что другие хуже меня? Я хотел бы быть таким, каким сам хочу быть, каким мне нужно быть для довольства собою».

Но кроме этого общего повода к иллюзиям подобного рода, было у Н. А. другое, частное основание воображать себя холодным и бесчувственным. Он имел чрезвычайно сильный характер. По обыкновению людей, одаренных таким характером, он считал себя лишенным твердой воли и, как я уже говорил, сильно мучился этим. Но каким бы ни считал он себя, я расскажу со временем множество дел, доказывающих удивительную силу его характера, а теперь пока укажу на один факт, известный всей публике: никто никогда не действовал с такою полною независимостью от всех окружавших, как он. Никакие личные отношения не могли поколебать его, когда он считал нужным поступить так или иначе. Например, ему известно было, что я одобрял устройство диспута в Пассаже между гг. Смирновым и Перрозио<sup>58</sup>. Он очень хорошо знал, как неприятно мне будет обнаружение глупости этого дела, в котором разыграл я самую жалкую роль. Публика могла не знать, но мы с ним оба очень хорошо понимали, что его статья «Любопытный пассаж» убийственнее для меня,

нежели для кого бы то ни было другого. Перечитайте же эту статью, — смягчалась ли в ней насмешка привязанностью ко мне? А между тем он любил меня, я имею на это доказательство. Но что указывать частные случаи? — Литературный мир знает, как неизменно выдерживал он принцип: не сближаться ни с кем из тех, с кем не стоило сближаться по его убеждению. Тут напрасны были всякие просьбы. При этой твердости характера и при ранней привычке к обдуманному действию Н. А. очень рано приобрел очень замечательную силу сдерживать внешние проявления своих чувств. Например, в течение четырех лет беспрестанных свиданий с ним (с лета 1856 г. до отъезда за границу) я только три раза был причиною или свидетелем того, что он изменялся в лице, вспыхивал и возвышал голос; а, разумеется, были десятки случаев, в которых он сильно досадовал на тот или другой мой поступок, и были сотни случаев, когда разговор наш шел о предметах, волновавших его. Кроме трех случаев (из которых два уже рассказаны г. Пятковским в «Книжном вестнике») <sup>59</sup>, я никогда не видел его теряющим власть над голосом, ни разу не видел делающим тревожные движения. Эту сдержанность он принимал за холодность, между тем как она только свидетельствовала о силе его воли.

Читатель видел страстность натуры Н. А. в двух направлениях чувства, — в любви к матери и в дружеской привязанности. Дневник, веденный в Педагогическом институте, заключает в себе много страниц, относящихся к собственно так называемой любви. Разумеется, мы не имеем права печатать этих его воспоминаний, хотя в них нет ровно ничего предосудительного с какой бы то ни было стороны для лиц, которые в них являются. Но над понятиями общества об этих вопросах еще господствует пошлость, требующая тайны. Те отрывки институтского дневника, которые говорят о тогдашней любви Н. А., должны оставаться не напечатанными до той поры, когда никто не найдет их обнаружением нарушением общественных условий, и мы печатаем только те страницы, которые показывают, как пробуждалась в Н. А. жажда любви.

3 января, рассказав, что был в театре на «Ревизоре», Н. А. продолжает:

«За «Ревизором» шла пьеса «Уедет или нет», дрянь какая-то гр. Ростопчиной <sup>60</sup>, пьеса, которой бы никто смотреть не стал, если бы ее не играла N <sup>61</sup>, на которую все время наведены были все имевшиеся в театре бинокли. Она действительно очень хороша собой. Странное дело: несколько дней тому назад я почувствовал в себе возможность влюбиться; а вчера ни с того ни с сего вдруг мне пришла охота учиться танцевать. Чорт знает, что это такое. Как бы то ни было, а это означает во мне начало

примирения с обществом\*. Но я надеюсь, что не поддамся такому настроению: чтобы сделать что-нибудь, я должен не убаюкивать себя, не делать уступки обществу, а, напротив, держаться от него дальше, питать желчь свою. При этом разумеется, конечно, что я не буду делать себе насилия, я стану ругаться только до тех пор, пока это будет занимать меня и доставлять мне удовольствие. Делать то, что мне противно, я не люблю. Если даже разум убедит меня, что то, к чему имею я отвращение, благородно и нужно, — и тогда я сначала стараюсь приучить себя к мысли об этом, придать более интереса для себя этому делу, — словом, развить себя до того, чтобы поступки мои, будучи согласны с абсолютной справедливостью, не были противны и моему личному чувству. Иначе, если я примусь за дело, для которого я еще не довольно развит и, следовательно, не гожусь, то во-первых, выйдет из него — «не дело, только мука», а во-вторых, никогда не найдешь в своем отвлеченном разуме столько сил, чтобы до конца выдержать пожертвование собственной личностью отвлеченному понятию, за которое бьешься».

(8 января) за обедом в одном семействе<sup>62</sup>, где давал уроки Н. А., зашла речь об убийстве Сибура Вержесом, — случае, наделавшем тогда много шума на целую Европу<sup>63</sup>. Ужаснее всего казалось, что Вержес совершил убийство открыто, в публичном месте, среди многолюдной толпы. Собеседники Н. А. говорили в этом тоне.

«Я сказал, что оправдывать убийство вообще нельзя, но не нужно и так строго обвинять (Вержеса) только за то, что оно совершено открыто и честно, а не подло и скрытно. Отсюда разговор легко перешел, конечно, к ослиной добродетели, которой Н. П.<sup>64</sup> произнесла панегирик, а я захохотал. Смех мой ее озадачил и даже несколько оскорбил. Начался спор, в котором я доказывал, что честный и благородный человек не может и даже не имеет права терпеть гадостей и злоупотреблений, а обязан прямо и всеми своими силами восставать против них. Вместо всякого ответа на мою диссертацию в этом смысле Н. П. только руками всплеснула: «Ах, какой он вольнодумец, господи боже мой!» Скоро однакоже она согласилась, что вольнодумство это очень благородно, но прибавила, что оно может быть губительно. В этом я с нею согласился...

В. А.<sup>65</sup> стала просить меня прочесть что-нибудь. Но читать было нечего. Обратились к старым книжкам «Современника». С. П.<sup>66</sup> сказал, что очень хороши «Записки учителя музыки»<sup>67</sup>, и В. А., вместе с Н. П.<sup>68</sup>, стали меня просить прочесть их. Отказаться было нельзя; но я их читал прежде, повторять не хотелось, и я озлился. Мгновенно стал я мрачен, в сердце была

\* Точнее выразился бы Н. А., если бы сказал: «начало того, что я увлекаюсь в жизнь».

какая-то ярость, тяжело было, и черт знает какое скверное расположение духа пришло при мысли о необходимости читать для других то, чего бы я сам не хотел читать. Я все старался оттянуть чтение.... К счастью, судьба бросила под руку В. А. первый том «Легкого чтения»; я вызвался прочесть для них «Дневник лишнего человека»<sup>69</sup>. Они согласились, и в ту же минуту дурное расположение мое прошло, мне стало легко и спокойно. Но как я страдал, приятно страдал, читая первую половину рассказа, никем не тревожимый и не прерываемый!... На половине нам помешали, и впечатления раздвоились. Пришел М.-fils \*, а потом М.-père \*\*<sup>70</sup>, стали толковать о родовой чести, о потере которой он очень сожалел, чем возбудил во мне желчный смех. Потом Н. П. отправилась делать чай, и чтение на время прекратилось. Мы остались вдвоем с В. А. и я стал ей говорить совершенно беззастенчиво о своей застенчивости, неловкости, незнании светских приличий, неуменье держать себя в обществе и т. п. Она согласилась, что я действительно не боек, но утешала меня тем, что все означенные достоинства находятся во мне не в столь высокой степени, как я думаю. А в самом деле, какое-то ужасающее сходство нашел я в себе с Чулкатуриним<sup>71</sup>. Я был вне себя, читая рассказ; сердце мое билось сильнее, к глазам подступали слезы, и мне так и казалось, что со мной непременно случится рано или поздно подобная история. Чувства же, подобные чувствам Чулкатуринина на бале, мне приходилось не раз испытывать. Вообще, с некоторого времени какое-то странное, совершенно новое, неведомое мне прежде расположение души посетило меня. Я томлюсь, ищу чего-то, по пятидесяти раз на день повторяю стихи Веневитинова<sup>72</sup>:

Теперь гонись за жизнью дивной  
И каждый миг в ней воскрешай,  
На каждый звук ее призывный  
Отзывной песнью отвечай.

Жизнь меня тянет к себе, тянет неотразимо. Беда, если я встречу теперь хорошенькую девушку, с которой близко сойду, — влюблюсь непременно и сойду с ума на некоторое время....

Итак, вот она начинается, жизнь-то.... Вот время для разгула и власти страстей.... А я, дурачок, думал в своей педагогической и метафизической отвлеченности, в своей книжной сосредоточенности, что уже я «пережил свои желанья» и «разлюбил свои мечты....»<sup>73</sup> Я думал, что выйду на поприще общественной деятельности чем-то вроде Катона Бесстрастного или Зенона Стоика<sup>74</sup>. Но, верно, жизнь возьмет свое. И как странно началось во мне это тревожное движение сердца! В первый раз шевельнулось оно во мне, когда я услышал от Б. К.<sup>75</sup>, что кн. Трубецкая,

\* Сын. — Ред.

\*\* Отец. — Ред.

очень бедная девушка, выходила за Морни<sup>76</sup>. Не могу определенно вспомнить своих чувств в ту минуту, но знаю положительно, что с тех пор я не знаю покоя и социальные вопросы переплелись в моей голове с мыслями об отношении моих к обществу, в котором мне именно суждено жить. Вместо теоретических стремлений начинается какая-то лихорадочная жажда деятельности, — и деятельности живой, личной, а не книжной, неопределенно безличной и отвлеченной. Что-то будет?... Может быть, конец моих учебных подвигов совершенно испортится теперешним моим расположением, но противиться ему я не в силах....»

29 января, записав, что был в театре на представлении «Горе от ума» и что пьеса шла дурно, Н. А. продолжает:

«При всем том, я доволен, что видел «Горе», хотя в другой раз уже не пойду смотреть его, — разве для того, чтобы любоваться N<sup>77</sup>. Она в самом деле поразительно хороша, и ее красота именно в моем роде: я всегда воображал себе такую мою будущую *biên-aimée*....\* Эти тонкие, прозрачные черты лица, эти живые, огненные, умные глаза, эти роскошные волосы, эта грация во всех движениях и неотразимое обаяние в каждом малейшем изменении физиономии — все это до сих пор не выходит у меня из памяти. Но впечатление, произведенное на меня N, именно подходит к тем, которые Пушкин называет «благоговеньем богомольным перед святыней красоты»<sup>78</sup>. Смотреть на нее, следить за чудными передвижениями ее лица и игрою глаз есть уже для меня достаточное наслаждение. Совсем другого рода чувства волновали меня, когда танцевала Жебелева с Богдановым<sup>79</sup> мазуречку....»

«30 января. Несколько дней уже я ношусь с Гейне и все восхищаюсь им. Ни один поэт еще никогда не производил на меня такого полного, глубокого, сердечного впечатления. Лермонтова, Кольцова и N читал я с сочувствием; но это было, во-первых, скорее *согласие*, нежели сочувствие, и, во-вторых, там возбуждались все отрицательные... чувства, желчь разливалась, кровь кипела враждой и злобой, сердце поворачивалось от негодования и тоскливого, бессильного бешенства: таково было общее впечатление. Гейне не то: чтение его как-то расширяет мир души, его песнь отдается в сердце сладкой, тихой, задумчивой тоской.... У Гейне есть и.... страшные, иронически отчаянные, насмешливо-безотрадные пьесы.... но теперь не эти пьесы особенно поразили меня. Теперь с особенным мучительным наслаждением читал и перечитывал я *intermezzo*. Верно, и мне пришла серьезно пора жизни — полной, живой, с любовью и отчаянием, со всеми ее радостями и горестями. Сердце мое бьется особенно сильно при мысли об этом; я чего-то жду страстно и пламенно

\* Возлюбленную. — Ред.

и даже нахожу особенное удовольствие в том, чтобы себя экзальтировать.

Сегодня утром я подумал о NN \* и удивился, что стал так холоден к ней. Вот что значит посмотреть на лучшее \*\*, после которого не нравится уже хорошее. «Ни одна не станет в споре красота с тобой»<sup>80</sup> вот чего бы я хотел для моей bien-aimée. Дождусь ли когда-нибудь такого счастья?..»

«31 января. Впечатления сменяются впечатлениями и зовут меня жить, бороться, наслаждаться....»

Два часа спустя я сидел у ZZ \*\*\* , и в комнату вошли мать и сестра А. Я в первый раз увидел его сестру при свете<sup>81</sup>. Как-то раз прежде я ее встретил в комнате, но тогда было темно и еще не было подано свечей. Теперь я разглядел ее близко и хорошо.... Это чудо, что такое! Ей, должно быть, лет 15 или 17. Она — великолепная брюнетка, небольшого роста, с чрезвычайно выразительными чертами лица. Если я ее никогда больше не увижу, я никогда не забуду этого лица. Я был в каком-то диком опьянении восторга после того, как она чрез три минуты вышла из комнаты. Она не сказала ни одного слова, она посмотрела на меня с видом небрежного покровительства, но я не досадовал за это, потому что она сразу стала в моем сердце выше всякой досады. Впрочем, несмотря на всю силу моего очарования, я довольно спокойно и рассудительно продолжал потом толковать с А.»<sup>82</sup>

Останавливаюсь пока на этом.

Ко всем бывшим товарищам Николая Александровича и к его друзьям обращаюсь я с просьбою: сообщать мне свои воспоминания о нем и передать мне на время те его письма и бумаги, которые сохранились у них.

Смею уверить, что всеми сообщаемыми мне воспоминаниями и документами я буду пользоваться для печати лишь настолько, насколько мне будет разрешено лицом, сообщившим этот материал. Едва ли надобно прибавлять, что все бумаги, доставленные мне, будут мною бережно сохранены и возвращены по желанию доставившего. Письма и посылки прошу присылать на мое имя по следующему адресу: в Петербург, близ Владимирской церкви, в доме Есауловой, Николаю Гавриловичу Чернышевскому.

---

\* Имя девушки, с которой он был тогда в дружбе.

\*\* Это выражение надобно относить к впечатлению, оставленному накануне театром.

\*\*\* В доме ZZ Ник. Александрович был уже несколько раз; но только официальным образом, не будучи еще принят в домашний круг.